### Annotation



Знаменитый русский историк, ректор Московского университета (1871–1877), академик Петербургской АН (с 1872 г.). Основатель яркой литературной династии, к представителям которой следует отнести его детей: Всеволода, Владимира, Михаила и Поликсену (псевдоним — Allegro), а также внука Сергея.

### • С. М. Соловьев

- Глава I
- <u>Глава II</u>
- <u>Глава III</u>
- <u>Глава IV</u>
- <u>Глава V</u>
- <u>Глава VI</u>

#### • <u>notes</u>

- 0 1
- o <u>2</u>

- 3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18

С. М. Соловьев

Н. М. Карамзин и его литературная

деятельность:

«История государства Российского»

# Глава І

В 1432 году был спор в Орде между великим князем Василием Васильевичем и дядей его Юрием Дмитриевичем Звенигородским, причем последний доказывал права свои летописцами и старыми списками. Сын Василия Иоанн III, приводя новгородцев в свою волю, велел дьяку своему вычислить послам их по летописям все вины Новгорода перед великим князем. Внук Иоанна III, споря с потомком князей ярославских, из летописей брал доказательства в свою пользу. Но во второй половине XVII века непосредственное пользование летописями и старыми списками оказалось уж неудобным: явилась потребность собрать их, явилась потребность составить из них чтонибудь более стройное, выбрать существенное, необходимое для непосредственного пользования. Матвеев составил для царевича Феодора Алексеевича «Описание всех великих князей и царей Российских в лицах с историями»; известный дьяк Грибоедов написал для того же государя Русскую историю в 36 главах.

История Грибоедова написана была для государя и осталась во дворце; но уже при царе Феодоре Алексеевиче учреждена была Славяно-греко-латинская академия в Москве; при брате его Петре училища умножались; понадобились учебные книги, руководства. Руководства для других наук легко было приобрести: стоило только перевесть известные сочинения с иностранных языков или составить свои учебники по иностранным образцам. Но откуда было взять руководство к изучению русской истории? Петр Великий велел историю справщику типографии Русскую написать Поликарпову. Поликарпов был человек грамотный, знал по-гречески; но все это не могло дать ему средств к написанию Русской истории, для чего нужно было особое приготовление. Поликарпов мог написать историю Славяно-греко-латинской академии, потому что события этой истории были на его памяти; сбора материалов, больших справок, трудных разысканий не требовалось; но как мог он приступить к составлению Русской истории, когда ничто не было приготовлено, ничто не было приведено в известность, ничто не сведено, не соглашено, не оценено? Опыт Поликарпова почему-то не понравился Петру Великому.

Но потребность хотя в каком-нибудь руководстве для изучения отечественной истории была нудящая, и вот Феофан Прокопович составил «Родословную роспись великих князей и царей Русских» на большом листе, где под каждым лицом находилось краткое описание его дел с показанием времени кончины. Этот труд, для нас теперь столь легкий, был тяжек для Феофана как для начинателя. «Произведение это, — говорит он, — маленькое по объему, стоило мне тяжких усилий, потому что я должен был перебрать летописи русские и польские и определить, в которых из них что показано вернее». В то же время в шведском плену Манкиев писал «Ядро Российской истории», изданное позднее и долго употреблявшееся как учебник. На первой части этого труда по самому характеру известий всего более отразились недостатки времени, недостатки ученого приготовления; но во второй части события рассказываются довольно обстоятельно и верно. Вообще труд Манкиева представляет очень замечательную для своего времени попытку, особенно если сравнить его с киевским Синопсисом.

Тяжкие труды должен был употребить тот, кто хотел составить сколько-нибудь верную роспись владетельных ЛИЦ кратким известием о их деяниях. Кто не хотел, не умел или не мог перебрать летописей и отыскать в них известия достовернейшие, тот предлагал своим читателям и ученикам странности, которые находим в Синопсисе и в первой части «Ядра». Но BOT УЖ современниками и сотрудниками Петра Великого нашелся человек, который решился собрать И разобрать материал, соотечественникам своим средства узнать и изучить источники русской истории в возможной полноте и вместе дать правило и пример, как пользоваться предложенными источниками: этот человек был В. Н. Татищев.

Заслуга Татищева состояла именно в том, что он начал с того, с чего именно следовало начать: оставил попытку — не по силам ни своим, ни чьим бы то ни было в его время — писать прагматическую русскую историю и употребил тридцатилетний труд для того только, чтобы собрать, свести источники и, оставя этот свод нетронутым, на стороне, в примечаниях попытаться впервые дополнить, уяснить и

подвергнуть критике летописные известия. Но важность такого труда не была понята современниками: те, которые были знакомы с иностранными историческими трудами, древними и новыми, хотели Русской истории, а не свода летописей и потому неблагосклонно приняли труд Татищева, отзываясь, что автор его не имеет достаточно философии. С другой стороны, нашлись люди с противоположными понятиями, которые сочли дерзостью попытку подвергнуть критике источники, — и труд Татищева остался неизданным до времен Екатерины II. Между тем дело просвещения в России шло вперед: академики, иностранцы и русские писали исследования по разным отраслям наук, даже по русским древностям; но Русской истории все еще не было. Шувалов предложил патриотический подвиг написания отечественной истории первому таланту времени — Ломоносову. Ломоносов принял предложение, прося только часы отдыха посвящать наукам естественным и тем самым показывая, при каком сокровище было его сердце; могучий талант его не осилил препятствий, сопряженных с трудом новым, к которому у него не было ни призвания, ни приготовления. Вместо системы он предложил натянутое сходство хода русской истории с ходом римской и, считая целью истории прославление подвигов, представил вместо Русской истории начальную летопись, изукрашенную цветами красноречия.

Глубже взглянул на свое дело князь Щербатов, начавший писать Русскую историю во второй половине XVIII века. Щербатов, подобно всем своим образованным современникам, знал историю всех других народов лучше, чем историю своего, когда начал писать ее, и потому неудивительно, что он не мог понять ее хода, уразуметь ее особенностей; неудивительно, что некоторые явления русской истории показались ему странными; но в том-то и состоит заслуга князя Щербатова, что он обратил особенное внимание на это явление, считая главною обязанностью историка объяснение причин событий. При этом поражает нас еще необыкновенная добросовестность князя Щербатова: считая своею главной обязанностью объяснить причину явления, он не хочет отстать от какого-нибудь трудного явления (как, например, родовые княжеские отношения, характер Иоанна IV и т. п.), пока не объяснит его сколько-нибудь удовлетворительным образом, для чего по нескольку раз обращается к одному и тому же предмету. Некоторые явления объяснены Щербатовым удачно, даже удачнее,

нежели как объясняли их писатели позднейшие; объяснение других ему не удалось; но за ним осталась заслуга первого объяснения, первой остановки над предметом, заслуживающим внимания в науке.

сочинения Шербатова: Мы указали достоинства князя односторонний отзыв о нем с указанием, слишком уж придирчивым, одних недостатков был сделан современником автора, талантливым Болтиным. Болтин не понял или не хотел понять заслуги Щербатова относительно разработки некоторых более замечательных частностей; ему не нравилось в его сочинении отсутствие единства, отсутствие одной общей мысли, одного общего взгляда, который бы проникал все сочинение. Хотя нельзя признать справедливость всех требований Болтина, хотя сочинение Щербатова иногда выигрывает тем, что автор его не руководится каким-нибудь одним взглядом вроде болтинского, что дает ему более простора, позволяет быть более беспристрастным, однако нельзя не признать важной заслуги Болтина, который первый поднял вопрос об отношении древней русской истории к новой, первый привел в живую связь прошедшее с настоящим.

Таковы были важнейшие труды по русской истории в XVIII веке; но кроме попыток к написанию полной подробной Русской истории мы видим ряд отдельных исследований, принадлежащих иностранным прекрасные исследования Академии, видим членам исследования тех начальных вопросов, где знаменитый в свое время ученый мог пользоваться доступными ДЛЯ него источниками византийскими и северными; видим многостороннюю, полезную деятельность трудолюбивого, хотя и не очень даровитого Миллера[1]; важный приуготовительный Стриттера, наконец, труд видим сочинение Шлёцера, легшее прочным основанием знаменитое критической обработки источников нашей начальной истории; а между тем делались доступными источники для истории времен более позднейших изданиями Миллера, Щербатова, Новикова и других. Были и тени в этой картине: являлись сочинения Емина, Елагина, доведших риторическое направление Ломоносова до последней эти сочинения встречены были справедливым крайности; НО негодованием лучших умов времени: против Емина вооружился Шлёцер, против Елагина — знаменитый московский митрополит Платон. Платон своею Церковною историею достойно заключает XVIII век и благословляет наступление XIX, первая четверть которого ознаменовалась появлением «Истории государства Российского». Каково же было отношение этого знаменитого труда к трудам предшествовавшим? Как удовлетворил он требованиям современников и каково было его влияние на труды последующие?

Взгляд автора на предмет труда показан им в предисловии:

«История в некотором смысле есть священная книга народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и деятельности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего.

Правители, Законодатели действуют по указаниям Истории и смотрят на ее листы, как мореплаватели на чертежи морей. Мудрость человеческая имеет нужду в опытах, а жизнь кратковременна. Должно знать, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами благотворная страсть ума обуздывала их бурное стремление, чтобы учредить порядок, согласить выгоды людей и даровать им возможное на земле счастие.

Но и простой гражданин должен читать Историю. Она мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государственных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подобные, бывали еще ужаснейшие — и Государство не разрушалось; она питает нравственное чувство и праведным судом своим располагает душу к справедливости, которая утверждает наше благо и согласие общества.

Вот польза: сколько же удовольствий для сердца и разума! Любопытство сродно человеку, и просвещенному и дикому... Еще не зная употребления букв, народы уже любят Историю... История, отверзая гробы, поднимая мертвых, влагая им жизнь в сердце и слово в уста, из тления вновь созидая Царства и представляя воображению ряд веков с их отличными страстями, нравами, деяниями, расширяет пределы нашего собственного бытия; ее творческою силою мы живем с людьми всех времен, видим и слышим их, любим и ненавидим; еще не думая о пользе, уже наслаждаемся созерцанием многообразных случаев занимают характеров, которые И VМ или питают чувствительность.

Если всякая История, даже и неискусно писанная, бывает приятна, как говорит Плиний, тем более отечественная... Пусть Греки, Римляне пленяют воображение: они принадлежат к семейству рода

человеческого и нам не чужие по своим добродетелям и слабостям, славе и бедствиям; но имя Русское имеет для нас особенную прелесть... Всемирная История великими воспоминаниями украшает мир для ума, а Российская украшает отечество, где живем и чувствуем...

Кроме особенного достоинства для нас, сынов России, ее летописи имеют общее. Взглянем на пространство сей единственной Державы: мысль цепенеет; никогда Рим в своем величии не мог равняться с нею... Не удивительно ли, как земли, разделенные вечными преградами Естества... могли составить одну державу?.. Менее ли чудесна и смесь ее жителей, разноплеменных, разновидных и столь удаленных друг от друга в степенях образования?.. Не надобно быть Русским — надобно только мыслить, чтобы с любопытством читать предания народа, который смелостью и мужеством снискал господство над седьмою частию мира, открыл страны, никому дотоле не известные, унес их в общую систему Географии, Истории и просветил Божественною Верою без насилия, без злодейств, употребленных другими ревнителями Христианства в Европе и в Америке, но единственно примером лучшего».

Здесь в первых строках мы видим определение истории или, лучше сказать, определение важности истории, которая называется священною книгою народов, главною, необходимою, зерцалом их бытия и деятельности и т. д. Следующие затем строки служат как будто распространением, объяснением этого определения: указывается польза истории для правителей, законодателей, потом показывается польза ее для простого гражданина. Далее рассуждается об удовольствии, доставляемом историею. Наконец, говорится о важности русской истории, во-первых, для русского и, во-вторых, для каждого мыслящего, образованного иностранца.

Теперь припомним, как смотрели на тот же самый предмет писатели, предшествовавшие Карамзину, писатели XVIII века. Татищев во введении к своему труду, предложив определение истории, под которою разумеет деяния в смысле всех явлений или приключений, а не одних только дел человеческих, предложив разделение истории на священную, церковную, политическую и ученую, переходит к пользе истории. По его словам, богослов, юрист, медик, администратор, дипломат, вождь не могут с успехом исполнять

всех должностей без знания истории. От пользы истории вообще Татищев переходит к пользе истории отечественной. Он говорит: «Что собственно о пользе русской истории принадлежит, то равно как о всех прочих разуметь должно, и всякому народу и области знание своей собственной истории и географии весьма нужнее, посторонних». Наконец, от пользы отечественной истории Татищев переходит к пользе русской истории иностранцев и пользе иностранной истории для русских. Здесь он недостаточность туземных одних источников составления вполне беспристрастной истории; с другой стороны, иностранные историки без знания русской истории никак не могут уяснить себе историю древних народов, обитавших в нынешней России, и потом иностранцы только чрез познание русской истории могут получить средства опровергнуть ложь, сочиненную нашими врагами.

Итак, мы видим, что взгляд историка XIX века на свой предмет в главных чертах сходен со взглядом историка XVIII века: оба смотрят на историю, как на науку опыта; оба следуют одному порядку при изложении ее пользы. Но при сходстве воззрения есть и разница: историк XIX века уже предчувствует в истории науку народного самопознания; говорит, что она есть дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего. Мы сказали «предчувствует» потому, что это важное определение нисколько не развито в последующей речи, где подобно историку XVIII века историограф подробно развивает пользу истории, как науки опыта, для различных разрядов общественных деятелей. При сходстве воззрения на предмет вообще должна быть разница в подробностях по самому расстоянию, разделявшему время жизни обоих историков, по самому различию характера этого времени. Историк, бывший свидетелем великих политических бурь и потом восстановления порядка; историк, писавший при государе, который был главным виновником этого восстановления, должен был обратить внимание преимущественно на то, как искони мятежные страсти волновали гражданское общество и какими способами обуздывалось их бурное стремление, учреждался порядок.

Свидетель великого бедствия, нашествия иноплеменников, историк XIX века видит в истории утешение для простого гражданина

в государственных бедствиях: «История должна свидетельствовать, что и прежде бывали бедствия подобные, бывали еще ужаснейшие — и государство не разрушалось». Относительно общего нравственного влияния истории оба писателя опять сходятся в своих воззрениях: по словам Карамзина, история питает нравственное чувство, праведным судом своим располагает душу к справедливости; по словам Татищева, «в истории не токмо нравы, поступки и дела, но из того происходящие приключения описуются, яко мудрым, правосудным, милостивым, храбрым, постоянным и верным честь, слава и благополучие, а порочным, несмысленным, лихоимцам, скупым, робким, превратным и неверным — бесчестие, поношение и оскорбление вечное преследуют, из которого всяк обучаться может, чтоб первое колико возможно приобрести, а другого избежать».

Сказав о пользе, историк XIX века распространяется об удовольствиях, доставляемых историею для сердца и разума, и прямо от приятности истории вообще переходит к большей приятности истории отечественной для русского. Историк XVIII века не говорит вовсе о приятности истории; по его мнению, для русского знание своей истории и географии еще нужнее знания истории и географии чужих стран — и только. Мы не станем отрицать здесь влияния личной природы обоих писателей: Татищев и Карамзин были два разных человека и потому могли различно смотреть на один и тот же предмет; но мы не должны также опускать из внимания различие в характере эпох, которых оба они были представителями в нашей литературе. Главною, единственною причиною всех деяний Татищев полагает ум или отсутствие его — глупость; расчетам ума он подчиняет все; нравственное чувство остается у него в стороне: отсюда сухость, жесткость, односторонность в приговорах о некоторых явлениях, непонимание, неумение оценить нежное нравственное чувство, которое иногда заставляет человека действовать вопреки расчетам ума. века, и наступила вторая половина XVIII Ho представители времени высказали совершенно иные мнения. «Искусство (опыт) доказало, — говорят они, — что один только украшенный или просвещенный науками разум не делает еще доброго и прямого гражданина»[2]. «Имей сердце, имей душу — и будешь человеком во всякое время. На все время — мода: на умы мода, на знание мода... Прямое достоинство в человеке — душа. Без нее

просвещеннейший умница — жалкая тварь. Невежда без души — зверь. Чем умом величаться? Ум, коль он только что ум, — самая безделица. С пребеглыми умами видим мыхудых мужей, худых отцов, худых граждан. Прямую цену уму дает благонравие: без него умный человек — чудовище. Оно неизмеримо выше всей беглости ума»[3].

Карамзин был воспитан в этих понятиях, господствовавших между лучшими людьми второй половины XVIII века, и потому неудивительно, что подле ума он постоянно дает место сердцу, чувствительности, и, мало того что дает им место, он дает им первое место; неудивительно, что в противоположность Татищеву Карамзин оценяет поступки исторических деятелей преимущественно с нравственной, так сказать сердечной, точки зрения, требует от них прежде всего чувствительности. Для нас, для которых Карамзин и его великая деятельность есть уже явление из мира прошедшего, эта его характеристическая черта очень важна...

Понятно, почему Карамзин кроме пользы распространяется об удовольствиях, доставляемых историею сердцу и разуму; говорит, что, еще не думая о пользе, мы уж наслаждаемся в истории созерцанием многообразных случаев и характеров, которые занимают ум или питают чувствительность. Понятно нам, почему для объяснения Карамзин отечественной истории русского важности ДЛЯ исключительно обращается к сердцу своих читателей: «Пусть Греки, Римляне пленяют воображение: они принадлежат к семейству рода человеческого и нам не чужие по своим добродетелям и слабостям, славе и бедствиям; но имя Русское имеет для нас особенную прелесть; сердце мое еще сильнее бьется за Пожарского, нежели за Фемистокла или Сципиона. Всемирная История великими воспоминаниями украшает мир для ума, а Российская украшает отечество, где живем и чувствуем».

Карамзин разнится от Татищева и в понятии о важности русской истории для иностранцев. Мы видим, что Татищев полагает пользу изучения русской истории для иностранцев в том, что чрез это уяснится история древних народов, в России обитавших, и в том еще, что иностранцы будут в состоянии опровергнуть ложь, сочиненную нашими врагами. И здесь Татищев, как везде, ограничивается одною научною пользою. Карамзин настаивает на занимательности, увлекательности и, так сказать, картинности русской истории, которая

должна нравиться и иностранцу. Отдаляясь от Татищева, Карамзин в некоторой степени приближается здесь к другому писателю XVIII века, Ломоносову, который говорит во вступлении в свою «Историю»: «Всяк, кто увидит в российских преданиях равные дела и героев, Греческим и Римским подобных, унижать нас пред оными причины иметь не будет; но только вину полагать должен на бывший наш недостаток во искусстве, каковым Греческие и Латинские писатели своих героев в полной славе предали вечности». Карамзин соглашается, что деяния, описанные Геродотом, Фукидидом, Ливием, для всякого нерусского вообще занимательнее, представляя более душевной силы и живейшую игру страстей; но утверждает, что некоторые случаи, картины, характеры нашей истории любопытны не менее древних; начинает перечислять эти выдающиеся, самые красивые характеры в русской истории и оканчивает перечисление словами: «Или вся Новая История должна безмолвствовать, или Российская имеет право на внимание».

Но тотчас же после этого он спешит оговориться: «Знаю, что битвы нашего Удельного междоусобия, гремящие без умолку в пространстве пяти веков, маловажны для разума; что сей предмет не богат ни мыслями для Прагматика, ни красотами для живописца; но История не роман, и мир не сад, где все должно быть приятно: она изображает действительный мир. Видим на земле величественные горы и водопады, цветущие луга и долины; но сколько песков бесплодных и степей унылых! Однако ж путешествие вообще любезно человеку с живым чувством и воображением; в самых пустынях встречаются виды прелестные».

Сознаваясь в сухости, незанимательности удельного периода, Карамзин, впрочем, не хочет, чтобы этот период, бедный мыслями для прагматика и красотами для живописца, отнял у русской истории много занимательности в сравнении с историею других народов, и потому ищет и в последних темных мест. «Не будем суеверны в нашем высоком понятии о Дееписаниях Древности. Если исключить из бессмертного творения Фукидидова вымышленные речи, что останется? Голый рассказ о междоусобии Греческих городов... Скучные тяжбы городов о праве иметь жреца в том или другом храме и сухой Некролог Римских чиновников занимают много листов в Таците... Ливии, плавный, красноречивый, иногда целые книги

наполняет известиями о сшибках и разбоях, которые едва ли важнее Половецких набегов».

Несмотря на это, сухость древней русской истории сильно тяготит историка; он даже задает вопрос: нельзя ли освободиться от нее? Нельзя ли события до Иоанна III представить в кратких чертах, на нескольких страницах вместо многих книг, трудных для автора, утомительных для читателей? Карамзин, однако, не поддается этому искушению; его спасает нравственное чувство, нравственное, сердечное отношение русского человека к его истории, к судьбам его отцов: «Хвастливость Авторского красноречия и нега Читателей осудят ли на вечное забвение дела и судьбу наших предков? Они страдали и своими бедствиями изготовили наше величие: а мы не захотим и слушать о том, ни знать, кого они любили, кого обвиняли в своих несчастиях! Иноземцы могут пропустить скучное для них в нашей древней Истории; но добрые Россияне не обязаны ли иметь более терпения, следуя правилу государственной нравственности, которая ставит уважение к предкам в достоинство гражданину образованному?.. Так я мыслил и писал об Игорях, о Всеволодах, как современник, смотря на них в тусклое зеркало древней Летописи с неутомимым вниманием, с искренним почтением; и если вместо живых, целых образов представлял единственно тени в отрывках, то не моя вина: я не мог дополнять Летописи!»

Эти слова, сказанные об общей занимательности русской истории, всего лучше определяют взгляд Карамзина на его предмет: он смотрит на историю со стороны искусства. Вот почему так называемый удельный период, по-видимому однообразный в своих явлениях, не представляющий картинных событий и характеров, для него сух, утомителен и может быть выпущен для иностранцев...

Но если Карамзин, с одной стороны, относительно взгляда на историю приближается к Ломоносову, то, с другой — великий талант, необыкновенная добросовестность и тщательное, всестороннее приготовление умерили, возвысили, облагородили в «Истории государства Российского» то направление, которое было доведено до такой крайности в бездарных произведениях Емина и Елагина. Карамзин завидует историкам, описывавшим события современные или близкие к их времени; в подобного рода сочинениях, по его словам, блистает ум, воображение. Дееписатель, который избирает

любопытнейшее, цветит, украшает, иногда творит, не боясь обличения, скажет: я так видел, так слышал — и безмолвная критика не мешает читателю наслаждаться прекрасными описаниями. Но, принужденный описывать события отдаленные, известия о которых извлекаются из памятников, Карамзин сознает свою обязанность представлять единственно то, что сохранилось от веков в летописях, в архивах. «Мы не можем, — говорит он, — ныне витийствовать в Истории. Новые успехи разума дали нам яснейшее понятие о свойстве и цели ее; здравый вкус уставил неизменные правила и навсегда отлучил Дееписание от Поэмы, от цветников красноречия, оставив в удел первому быть верным зерцалом минувшего, верным отзывом слов, сказанных Героями веков. действительно Самая прекрасная выдуманная речь безобразит Историю, посвященную не славе не удовольствию Читателей и Писателя. даже не мудрости нравоучительной, но только истине, которая уж сама собою делается источником удовольствия и пользы».

В приговоре над так называемым удельным периодом Карамзин уже выказал отчасти свой взгляд на древнюю русскую историю; полнейшее выражение этого взгляда мы должны искать в его разделении русской истории на периоды, которым он заключает свое предисловие. Но прежде посмотрим, как делили русскую историю писатели предшествовавшего века.

Татищев не имел в виду обнять всю русскую историю; он хотел остановиться на избрании царя Михаила Федоровича, и потому у него мы не можем искать полной системы русской истории; что же касается до древней русской истории, обнимаемой его сводом летописей, то она у него разделена на три части: 1) от 860 года до нашествия татар; 2) от татардо Иоанна III; 3) от Иоанна III до царя Михаила. Татищев указал грани, но не определил характера периодов. Ломоносов сделал первую попытку в этом роде и определил периоды русской истории, сравнивая их с периодами истории римской, более других ему известной. Он удовольствовался, как выражается сам, «некоторым общим подобием в порядке деяний российских с римскими, где находит владение первых королей, соответствующее числом лет и государей самодержавству первых самовластных великих князей российских; гражданское в Риме правление подобно разделению нашему на разные княжения и на образом некоторым гражданскую вольные грады, власть

составляющему; потом единоначальство кесарей представляет согласным самодержавству государей московских». И Ломоносов, следовательно, ограничился только одною древнею историею. Система Шлёцера обняла всю русскую историю до позднейших (относительно автора) времен. Он разделил ее на пять периодов: 1) Россия рождающаяся, от 862 года до Святополка; 2) разделенная, от Ярослава до монголов; 3) угнетенная, от Батыя до Иоанна III; 4) победоносная, от Иоанна III до Петра Великого; 5) процветающая, от Петра Великого до Екатерины II.

Карамзин, прежде чем предложить собственное деление, почел нужным опровергнуть Шлёцерово. «Сия мысль, — говорит он, — кажется мне более остроумною, нежели основательною. 1) Век Св. Владимира был уже веком могущества и славы, а не рождения. 2) Государство делилось и прежде 1015 года. 3) Если по внутреннему состоянию и внешним действиям России надобно означать периоды, то можно ли смешать в одно время великого князя Димитрия Александровича и Донского, безмолвное рабство с победою и славою? 4) Век самозванцев ознаменован более злосчастием нежели победою. Гораздо лучше, истиннее, скромнее история наша делится на Древнейшую, отРюрика до Иоанна III, на Среднюю, от Иоанна до Петра, и Новую, от Петра до Александра. Система уделов была характером первой эпохи, единовластие — второй, изменение гражданских обычаев — третьей. Впрочем, нет нужды ставить грани там, где места служат живым урочищем».

Чтобы оценить предложенное Карамзиным деление русской истории, взглянем на возражения, которым она подверглась со стороны позднейших писателей. «Карамзин, — говорят возражатели, — деля русскую историю на древнюю, среднюю и новую, очевидно, принимал эти слова в том же значении, в каком понимают их европейские ученые при рассматривании всемирной истории; то есть древняя история представляет мир исчезнувший; средняя служит переходом от древнего к новому; новая объясняет начало и развитие тех элементов, из которых образовалась современная жизнь». Допустить эти основания — значит, по мнению возражателей, прийти к ложным умозаключениям, потому что надобно будет предположить, что со времен Иоанна III, после крутого переворота, начался новый порядок вещей, изменились отношения внутренние и внешние и весь состав

государства был потрясен в своих основаниях. Но события говорят противное: Иоанн III и преемники его развивали ту же мысль, которая родилась почти за полтораста лет до него в голове Иоанна Калиты, государей именно: главною целью всех московских сосредоточить Русскую землю в одно целое, утвердить ее за своим родом, избавить от чуждого влияния монголов и поляков. Все старое оставалось по-старому, если только согласовалось с политикою государей московских. Удельная система исчезла не вдруг, не при Иоанне III: она стала исчезать при Иоанне Калите и рушилась окончательно при Иоанне IV. Иго монгольское равным образом развитием ослабевало исподволь, с постепенным могущества московского, от Иоанна Калиты до конца княжения Иоанна III, если не Иоанна IV.

Карамзин, продолжают возражатели, отличительным характером древней русской истории постановил систему уделов; но если право порядок престолонаследия определяло удельное И отношения членов господствующей фамилии, то справедливо ли принимать одно право престолонаследия основанием исторического деления? Не следует ли обращать внимание на другие обстоятельства, особенно когда видим, что удельная система была господствующим явлением, источником событий только от Ярослава до монголов? До быстрое было расширение Ярослава явлением же главным норманнского господства над славянами и основание Руси, а с покорением отечества монголами начался раздел Руси на восточную и могущественных государства: западную образовались два И Московское и Литовское; притом право удельное господствовало у нас до самого прекращения Рюриковой династии в лице царевича Димитрия Углицкого, последнего удельного князя. Следовательно, в таком случае удельная система будет служить отличительным характером нашей истории не до половины XV века, а полтораста лет далее, до конца XVI века. Наконец, названия средней истории для пространства времени от Иоанна III до Петра Великого возражатели не хотят допустить в смысле перехода от древнего порядка вещей к новому, потому что здесь не было аналогических явлений с папизмом и феодализмом. Переход от древнего мира к новому, говорят они, у нас был действительно; но он совершился в одно царствование Петра Великого, в начале XVIII века: здесь предел древнего русского мира и начало тех элементов, из которых образовалась нынешняя сфера наша. Рассмотрим справедливость этих возражений. Карамзин признал отличительным характером древней русской истории систему уделов. Мы не будем здесь спорить о названиях, будем придавать им то же самое название, какое придают им возражатели, утверждающие, что право удельное определяло порядок престолонаследия и взаимные отношения членов господствующей фамилии. Возражатели говорят: «Справедливо ли принимать одно право престолонаследия основанием исторического деления и следует ли обращать внимание на другие обстоятельства, особенно когда видим, что удельная система была господствующим явлением, источником событий только от Ярослава до монголов?» Остановимся пока здесь и прежде всего очистим этот вопрос. Возражатели соглашаются, что удельная система была господствующим явлением, источником событий от Ярослава до монголов; но так как основанием исторического деления мы должны принимать господствующее явление, источник событий, то принимать основанием исторического деления удельную систему справедливо, и Карамзин имел полное право это сделать; причем вопрос — «не следует ли обращать внимание на другие обстоятельства?» — вопрос лишний: следует обращать внимание на все обстоятельства, но следует преимущественно останавливать внимание господствующем на явлении, источнике событий.

мнению возражателей, Ho ПО удельная система господствующим явлением, источником событий только от Ярослава до монголов, а с покорением отечества монголами начался раздел Руси на Восточную и Западную и образовались два могущественных государства: Московское и Литовское. Но здесь представляется прежде всего вопрос: раздел Руси на две половины — Восточную и Западную — уничтожил ли прежние формы государственной жизни в той и другой половине? На это возражатели отвечают, что удельное право господствовало в восточной половине Руси до самого прекращения Рюриковой династии, а в Западной России удельная система рушилась за сто лет до Иоанна III. Но в таком случае рождается новый вопрос: Русь разделялась ли на два государства, совершенно равные, самостоятельные, идущие по различному историческому пути, никогда после не соединявшиеся? В таком случае надобно оставить всякую мысль о внутреннем единстве русской истории. Или Русь разделилась так, что в одной половине преимущественно сохранились и развились основные начала общественной и семейной жизни русского народа и эта половина является на первом плане, а судьбы исторические второй половины находятся в зависимости от судеб первой? В таком случае внутреннее единство русской истории не нарушается; историк имеет возможность следить непрерывно за развитием русской жизни в той половине, где она преимущественно развивалась, оставляя на втором плане ту половину, где эта жизнь была остановлена в своем развитии.

На это отвечают: Юго-Западная Русь вошла в состав государства Литовского, на которое должно смотреть как на Русское. Доколе оно было самостоятельно, имело своих князей из дома Гедиминова, сохраняло все черты русской народности и спорило с Москвою о праве господствовать над всею Русью, историк обязан говорить с равною подробностью о делах литовских и московских и вести оба государства рядом, так точно, как до начала XIV столетия он рассказывал о борьбе удельных русских княжеств: Киевского, Черниговского, Галицкого, Суздальского, Рязанского, Новгородского и других. Положение дел будет одно и то же, с тою единственною разностью, что в удельное время было несколько систем, а тут только две: московская и литовская; это будет продолжаться до исхода XVI века. Когда угаснет дом Гедимина и отчина его соединится с Польшею, русский бытописатель изобразит на главном плане государство Московское, или Россию, потому что в недрах ее сохранились и развились основные начала общественной и семейной жизни русского народа, семена, насажденные Рюриком, Владимиром Св., Ярославом Мудрым, взлелеянные потомками Калиты принесшие величественный плод под благословенною державою дома Романовых. На втором плане этой картины стоит великое княжество Литовское, опутанное цепями иноплеменников. Историк не обязан рассказывать о всех делах польских, в которых принимало участие Литовское княжество, потому что это предмет посторонний; но он обязан непременно показать, каким образом в Западной Руси под игом поляков постепенно исчезали главные черты ее народности; как она боролась со своими гонителями, чтобы спасти свою веру, свой язык главное, почти единственное наследие, оставшееся ей от предков; как подавали ей руку помощи мудрый Алексей, Великий Петр, доколе Екатерина II не решила этого старинного, столь запутанного вопроса о

Восточной и Западной Руси: та и другая сливаются в одно целое, в одну Российскую империю, и с тех пор литовская история должна умолкнуть.

Во сколько справедлива вторая половина этого рассуждения, во сколько же несправедлива первая, если хотят, что с конца XVI века русский бытописатель изображал на главном плане государство Московское, или Россию, потому что в недрах ее сохранились и развились основные начала общественной и семейной жизни русского Северо-Восточная Русь (впоследствии Московское народа; государство) должна находиться на первом плане и в XIII веке, с самого начала отделения, именно по той же самой причине. Понятно, что русский бытописатель, которого обязанность состоит в том, чтобы следить за сохранением и развитием основных русских начал, будет всегда иметь на первом плане те части России, в которых эти начала сохранялись и развивались непрерывно, а на втором — те, в которых означенное развитие было на время насильственно остановлено, потому что тогда только сохранится единство, внутренняя, живая связь русской истории.

Вы говорите совершенно справедливо, что семена, насажденные Рюриком, Владимиром Св., Ярославом Мудрым, были взлелеяны потомками Калиты; но вы не говорите, чтобы эти семена были в то же время взлелеяны и потомками Гедимина: как же после того бытописатель русский решится поставить правление потомков Гедимина на один план с правлением потомков Калиты? С другой стороны, Русь Калиты и его потомков не произошла сама собою; она была результатом предшествующих явлений, результатом деятельности предшествующих князей северо-восточных.

Таким образом, очевидно, бытописатель с самого начала разделения должен поставить Северо-Восточную Русь и ее князей на первый план; а если возражатели соглашаются, что право удельное господствовало в Северо-Восточной Руси до самого прекращения Рюриковой династии, то должны признать за Карамзиным право постановить удельную систему отличительным характером древней русской истории. Имел ли Карамзин право остановиться на Иоанне III и зачем не продолжал древней истории до пресечения Рюриковой династии — об этом будет речь после, в своем месте; мы возвратимся также и к вопросу о значении Юго-Западной Руси, как понимал это

значение Карамзин, и тут в известной степени согласимся с возражателями, покажем основные причины их требования; теперь же мы должны рассмотреть еще некоторые возражения, делаемые Карамзину относительно общего представления событий древней русской истории.

Говорят: «Зачем все пространство времени от Рюрика до половины XV века представляет в ней непрерывную цепь княжеских междоусобий, описанных со всеми мелочными подробностями? Зачем ни одно движение самого незначительного князя не оставлено без внимания, если только оно сохранилось в летописях, между тем как другие важнейшие предметы, имевшие решительное влияние на судьбу нашего отечества, замечены слегка, как будто вскользь, и то в связи с удельными бранями?»

Но если так называемая удельная система, как сами возражатели соглашаются, была господствующим явлением, источником событий в известное время, то спрашиваем: какое же право имел бы историк, предположивший написать полную, подробную картину древней отечества, выставить первый жизни своего не на господствующего явления в этой жизни со всею полнотою, со всеми подробностями, размещая эти подробности, как следует, по степени их важности? Здесь нет ничтожных движений для историка: каждое движение князя имеет значение при объяснении характера явления, соответствует ли оно, это движение, общему ходу событий или является исключением.

Мы не можем признать за историком права выбора явлений из источников: он имеет только право располагать и уяснять явления; ни одна йота летописи не должна пропасть для истории; но дело в том, что все известия, перемешанные в летописи, должны найти приличное себе место в истории. Упрекают Карамзина в том, зачем он, увлекшись удельными бранями, мало сказал о норманнах, о влиянии Византии, о влиянии монголов... Эти упреки подробнее рассмотрим мы в своем месте; здесь же должны говорить только о взгляде на характер древней русской истории, который, по нашему мнению, у Карамзина вернее, чем у его возражателей. Мы никак не можем согласиться с последним, что норманны, монголы и подобные явления по самому свойству должны стоять на первом плане, а не в тени. На первом плане должно находиться только одно главное, господствующее явление, иначе

нарушится единство; и если признано, что в известный период система была господствующим удельная времени источником событий, то эта удельная система и должна оставаться на первом плане, а не что-либо другое; все другие явления, как бы они важны ни были, должны рассматриваться по степени их влияния сперва на господствующее явление, а потом и на все другие; тогда только сохранятся научные единство, порядок и ясность. Наконец, упрекают Карамзина в неверности взгляда на самую так называемую удельную систему, говорят: «Карамзин, описывая XII и XIII столетия, выставляет на первом плане обыкновенно князей суздальских, как будто они властвовали над всею Русскою землею; между тем ход событий удостоверяет, что в Русской земле в начале XIII столетия было по крайней мере десять систем, или государств, разделенных на многие уделы и имевших своего великого князя. Многие из них, например галицкие великие князья, играли роль важнее суздальских».

Это возражение заключает в себе противоречие фактам. Мы не станем уж говорить о десяти системах, или государствах, которых князья покидали свои столы и уезжали править десятым государством на основании родового старшинства; мы хотели бы узнать одно: какой из галицких князей играл роль важнее суздальских в начале XIII века? Разве можно поставить наряду значение Ярослава Галицкого и Андрея Боголюбского? Разве Ярослав располагал когда-нибудь Киевским столом, как располагал им Андрей, у которого, несмотря на разбитие его войска, Ростиславичи просят позволения занять Киев? Сын Ярослава Владимир потому только мог спокойно владеть Галичем, что Всеволод Суздальский принял его под свое покровительство; киевский князь, главный на юге, прямо говорит, что он не может быть без Всеволода Суздальского; черниговский князь посылает в Суздаль просить позволения начать войну с другим князем и, не получив этого позволения, не смеет двинуться. Роман Галицкий не может распорядитьсяКиевскою областью как бы ему хотелось и должен сообразоваться с желанием князя Суздальского. Какие же после того многие князья играли роль важнее суздальских?..

Столь же неоснователен упрек, делаемый Карамзину за то, что он допустил среднюю историю в значение перехода от древнего порядка вещей к новому: зачатки этого перехода мы видим еще при последних государях из Рюриковой династии. При первых же государях из

династии Романовых он становится вполне ощутителен: в сфере церковной — определением отношений власти церковной к власти гражданской, последовавшим по поводу Никонова дела; в сфере военной — преобразованием сухопутного войска и попытками к заведению флота; в сфере дипломатической — новыми понятиями, Ординым-Нащокиным, появлением резидентов, внесенными деятельным вступлением в союз европейских государств для борьбы с турками; в сфере служебной — уничтожением местничества; в сфере торговой — обширными видами на Восток; в сфере промышленной приглашением иностранцев для заведения различных производств и научения им русских людей. Нужно ли распространяться о стремлении к научному образованию, обнаруженному и правительством и частными лицами? Нужно ли распространяться об изменении обычаев, начавшемся в XVII веке? Как же можно после того сказать, что переход от древнего мира к новому совершился в начале XVIII века?..

Неудачность возражений, предложенных позднейшими писателями против деления русской истории, принятой Карамзиным, всего лучше показывает достоинство этого деления. Мы не можем не признать правильности деления русской истории на древнюю и новую и не можем не признать XVII и отчасти XVI века переходным временем. Следовательно, Карамзин имел полное право принять древнюю, среднюю и новую русскую историю.

# Глава II

За Введением следует статья: «Об источниках Российской истории до XVII века». Эти источники перечисляются в таком порядке: летописи, Степенная книга, хронографы, жития святых, особенные дееписания (сказания), Разряды, Родословная книга, письменные каталоги митрополитов и епископов, послания святителей, древние монеты, медали, надписи, сказки, песни, пословицы, грамматы, статейные списки, иностранные, современные летописи, государственные бумаги иностранных архивов.

Татищев первый подробно перечислил источники древней русской истории до XVIII века, внимательно рассмотрел Начальную киевскую летопись, которую утвердил за Нестором; первый старался определить место, где остановился Нестор; первый указал на его продолжателей. Труд Татишева лег в основание дальнейших исследований Миллера Шлёцера. Татищев И рассмотрел преимущественно внешнюю сторону летописей; Шлёцер обратил вопросы: внутреннюю, поднял внимание каким образом на приднепровский житель XI века мог достичь известной степени образованности? Как пришел он к мысли написать хронику родной страны, и написать на отечественном языке? Кто были его образцы? Из каких источников черпал он свои известия и каков вообще характер его повествования? Карамзин воспользовался исследованиями своих предшественников и в немногих живо набросанных чертах изобразил начального летописца с его источниками: «Нестор, инок Монастыря Киевопечерского, прозванный отцом Российской Истории, жил в XI веке: одаренный умом любопытным, слушал со вниманием изустные предания древности, народные исторические сказки; видел памятники, могилы Князей, беседовал с Вельможами, старцами Киевскими, путешественниками, жителями иных областей Российских; читал Византийские Хроники, записки церковные и сделался первым Летописцем нашего отечества». Так сухие изыскания Татищева, Миллера и Шлёцера под пером Карамзина приняли живой, целостный образ, и сколько стараний было потом употреблено и употребляется для того, чтобы сохранить этот образ неприкосновенным! Живой образ начального летописца, представленный Карамзиным, составляет, следовательно, окончательный результат исследований XVIII века, которые все отправлялись от одного положения, что начальная летопись в целости принадлежит одному лицу, именно преподобному Нестору, киевскому иноку XI века<sup>[4]</sup>.

Карамзин в выражении «сделался первым летописцем нашего отечества» слово «первым» напечатал курсивом и в примечании отвергнул древнейшего Иоакима, как вымысел. И здесь Карамзин остался верен окончательному результату, добытому историческою критикою в XVIII веке. Татищев признавал важность так называемой летописи, но, руководствуясь необыкновенною Иоакимовой добросовестностию, не решился внести ее известий в свод летописей, а поместил их особо, на том основании, что ему нельзя было ссылаться ни на какую известную рукопись. Болтин, бесспорно, самый талантливый из всех занимавшихся русскою историею в XVIII веке, как своих, так и чужих; Болтин защищал Иоакима против Щербатова, но Шлёцер, исполненный уважения к начальному киевскому летописцу за то, что не нашел в нем генеалогических басен, не мог не отвергнуть Иоакимовой летописи, имевшей несчастие начинаться сказанием о Словене и Вандале. Авторитет Шлёцера надолго решил дело; вопрос об отделении позднейшего составления от древнейших источников не был поднят, и летопись Иоакимова отвергнута, как заключающая в себе одни вымышленные известия; но Шлёцер, отзываясь резко об Иоакимовой летописи, не заподозрил, однако, в подлоге самого Татищева, справедливость отдал добросовестности[5].

Карамзин пошел далее. По его мнению, это шутка, затейливая, хотя и неудачная догадка Татищева, который сомневался в истине Нестерова повествования и хотел исправить мнимую ошибку; но Карамзин не ограничил своего приговора одним Иоакимом: по его мнению, Татищев, равно как составители поздних летописных сборников, выдумали все те лишние известия, которых нет в древнейших списках летописей. Это мнение, высказанное резко в разбираемой главе, определенно и НО повторяемое беспрестанно в примечаниях, надолго установило господствующий взгляд в нашей исторической критике. Высказывая это мнение, Карамзин шел дальше Шлёцера, сомнения которого не касались тех известий Татищева, которых не было в древнейших списках [6]. Впрочем, должно заметить, что Шлёцер не сравнивал известий XI и XII веков и мнение Карамзина было естественным и необходимым следствием Шлёцеровых мнений о Несторе.

О продолжателях Нестеровых Карамзин рассуждает иначе, чем предшествовавшие ему исследователи, то есть, собственно, один исследователь — Татищев, потому что Шлёцер здесь буквально копирует последнего. Карамзин, во-первых, не помещает Сильвестра в числе Нестеровых подражателей, как то сделал Татищев; потом мы уж сказали, что Карамзин отвергнул все те лишние известия, которые находились в списках, вошедших в состав татищевского свода, и не встречались в списках, до нас дошедших: вот почему Карамзин не упоминает о том из подражателей Нестора, который так любил описывать наружность князей и которого потому Татищев называет искусным в живописи; по мнению же Карамзина, все эти описания наружностей выдуманы самим Татищевым. Карамзин в продолжателей Нестора помещает автора того отрывка, в котором рассказывается об ослеплении Василька Тере-бовльского, потом указывает безыменных летописцев: Новгородского, Суздальского, Киевского, Волынского, Псковского. Вся характеристика наших летописей заключается в следующем замечании: «К сожалению, они (летописцы) не сказывали всего, что бывает любопытно для потомства; но, к счастию, не вымышляли, и достовернейшие из Летописцев иноземных согласны с ними». Этот отзыв, несмотря на свою любопытен важен: долговременное пользование краткость, И летописями, внимательный пересмотр множества списков с целию собственно историческою для представления по ним судеб государства Карамзина односторонне заставили отказаться ОТ ТОГО преувеличенного мнения, какое было высказано Шлёцером о летописях. Карамзин избежал и другой ошибки Шлёцера, то есть собственно Татищева, который говорит<sup>[7]</sup>, что после 1156 года «по разным спискам видны разные дополнения по 1203 год, где уж во всех летописях разница находится, и хотя редко где противоречат, но в порядке дел один то, другой другое прежде положил или пропустил, також по пристрастиям или обстоятельствам один сего, другой другого оправдает». Из этих слов Татищева Шлёцер вывел, что до начала XIII века для каждого времени был только один летописец, который

начинал там, где предшественник его окончил; что различия в суждениях летописцев начинаются только после этого времени. Карамзин не повторил этого ошибочного мнения, но и не опровергнул его, вследствие чего оно осталось в силе и воспрепятствовало некоторым позднейшим исследователям заметить, что и до XIII века для каждого времени был не один только летописец, что и до XIII века встречаем различные суждения, различные взгляды на одно и то же явление.

Сказав о продолжателях Нестора, Карамзин перечисляет лучшие списки летописей, причем говорит: «В каждом из них есть нечто особенное и действительно историческое, внесенное, как надобно думать, современниками или по их запискам». Эти слова недовольно ясны и повели позднейших исследователей к запутанностям. Начали рассуждать о записках, противополагая их летописям, делая их источниками для летописей; но надобно было показать прежде различие между записками и летописью. Словом записки мы переводим мемуары и, в смысле исторических источников, под этим словом не разумеем ничего более. Итак, в XI, XII, XIII и следующих веках у нас были мемуары! Конечно, не то хотел сказать Карамзин...

Подобно всем предшествовавшим русским историкам, первую главу своей «Истории» Карамзин посвятил рассказу о судьбе народов, населявших нынешнюю русскую государственную область до основания Русского государства. Эта глава превосходна, как искусный перечень преданий, живой рассказ событий, хотя должно заметить, что эти события взяты совершенно отдельно, без указания на связи их с событиями последующими. Зная утомительные исследования о том же предмете писателей предшествовавших (Татищева, Щербатова), нельзя не удивляться искусству, с каким Карамзин сделал первую главу своей «Истории» удобною для чтения легкостью рассказа, выбором подробностей; нельзя не удивляться здравому смыслу, с каким он обошел безрезультатные толки о происхождении народов и народных имен.

Для образца мы должны указать на статью, в которой Карамзин касается вопроса о происхождении славян и первом появлении их в истории. Рассказав о готах, он прибавляет, что историк их, Иорнанд, в числе других покоренных Германарихом народов упоминает и о венедах. «Сие известие, — говорит Карамзин, — для нас любопытно и

важно: ибо Венеды, по сказанию Иорнанда, были единоплеменники Славян, предков народа Российского. Еще в самой глубокой древности, лет за 450 до Р. Хр., было известно в Греции, что янтарь находится в отдаленных странах Европы, где река Эридан впадает в Северный Океан и где живут Венеды... Во время Плиния и Тацита, или в первом столетии, Венеды жили близ Вислы и граничили к югу с Дакиею. Птоломей, Астроном и Географ II столетия, полагает их на восточных берегах моря Балтийского, сказывая, что оно издревле называлось Венедским. Следственно, ежели Славяне и Венеды составляли один народ, то предки наши были известны и Грекам и Римлянам, обитая на Юг от моря Балтийского. Из Азии ли они пришли туда и в какое время, не знаем... и считаем Венедов Европейцами, когда История находит их в Европе. Сверх того, они самыми обыкновениями и нравами отличались от Азиатских народов».

Сказав о расселении славян по Европе, от Балтийского моря до Адриатического, от Эльбы до Морей и Азии, Карамзин переходит к племен славянских В нынешней России. историограф уже не мог обойти вечно спорного вопроса о волохах, потеснивших славян с Дуная. Ближайшим достойным внимания исследователем, занимавшимся этим вопросом, был Тунман, с которым Карамзин и должен был войти в полемику. Он приступает к вопросу так: «Нестор пишет, что Славяне издревле обитали в странах Дунайских и, вытесненные из Мизии Болгарами, а из Паннонии Волохами (доныне живущими в Венгрии), перешли в Россию, в Польшу и другие земли». Надобно сказать, что вопрос о волохах решен Карамзиным проще и, так сказать, основательнее, чем у позднейших исследователей, которые принимают волохов то за кельтов, то за римлян; основательнейшим мнение Карамзина мы назвали потому, что оно основывается на свидетельствах двух летописцев, русского и венгерского. Русский летописец говорит, что венгры, пришедши в Дунайскую область, прогнали оттуда волохов, которые прежде них овладели здесь землею славянской; венгерский летописец подтверждает русского, говоря, что венгры именно нашли на Дунае волохов. Но, справедливо возражая против Тунманова смешения волохов с болгарами, Карамзин, как нередко бывает, увлекся другою ошибкою Тунмана и повторяет, что славяне были вытеснены из Мизии болгарами, а из Паннонии волохами, тогда как летописец ни полслова не говорит о том, что нашествие болгар на Мизию, на живших там славян, подало повод к изгнанию, переселению последних в северные страны.

признавая благоразумными замечания митрополита Далее, Платона насчет сказания о путешествии апостола Андрея, Карамзин не только приводит это сказание в подтверждение пребывания славян на севере в І веке, но даже опровергает им Тунмана и Гаттерера. Потом Карамзин предлагает несколько гаданий о том, что, быть может, андрофаги, меланхлены, невры Геродотовы, геты принадлежали к племенам славянским. Но, заплатив невольно сфинксу, дань стерегущему обыкновенно вход в истории каждого народа и предлагающему таинственные загадки историку, Карамзин спешит оговориться: «Историк не должен предлагать вероятностей за истину, доказываемую только ясными свидетельствами современников. Итак, оставляя без утвердительного решения вопрос: "Откуда и когда Славяне пришли в Россию?", опишем, как они жили в ней задолго до времени, в которое образовалось наше Государство». Относительно этой оговорки, впрочем, надобно заметить, что здесь смешаны догадки позднейших исследователей с преданиями, записанными в летописях; на вопрос: «Откуда пришли славяне в Россию?» — отвечает предание, занесенное в летопись; на вопрос: они?» «Когда пришли отвечает позднейших догадка исследователей. Конечно, нельзя поставить рядом предания о движении славян с Дуная вследствие натиска от волхов с мнениями позднейших ученых, что эти волхи были кельты или римляне Трояновы или что невры, меланхлены и андрофаги были славяне.

Карамзин приводит известие летописи о расселении племен славянских в нынешней России, верно смотрит на предание об основании Киева, хоть напрасно освобождает от общего приговора известие о Киевце Дунайском. Нельзя не остановиться на следующем мнении о полянах: «Многие Славяне, единоплеменные с Ляхами, обитавшими на берегах Вислы, поселились на Днепре, в Киевской губернии, и назвались Полянами от чистых полей своих. Имя сие исчезло в древней России, но сделалось общим именем Ляхов, основателей Государства Польского».

Если поляне назвались так от местности, от чистых полей нынешней Киевской губернии, то едва ли можно сближать их с

ляхами, обывателями берегов Вислы, которые и назвались от своей местности или от чего-нибудь другого. Если уж сближать полян с поляками по созвучию названий, то должно предположить, что это название произошло первоначально на берегах Вислы и переселенцы перенесли его отсюда на берега Днепра. Правилен взгляд на финские племена; но мнение о происхождении литовского племени от смешения славян, финнов и германцев — мнение, казавшееся основательным во времена Карамзина, — теперь отвергнуто наукою вследствие новых изысканий.

Отрицая подчинение финских и латышских племен славянским во времена дорюриковские, Карамзин указывает причину, почему славяне в эти времена не могли быть завоевателями; это потому, что они жили особенно, по коленам, но эта форма быта, это любопытное выражение — по коленам — не объясняются. Поколенный быт и междоусобие не только препятствовали славянам российским быть завоевателями, но предавали их в жертву врагам внешним — аварам, казарам и, наконец, варягам. Здесь автор останавливается на вопросе: «Кого Нестор именует варягами?» При решении этого вопроса Карамзин должен был выбирать между разными мнениями, явившимися уже в XVIII столетии; он выбрал мнение о происхождении скандинавском, в пользу которого говорили и ясные свидетельства источников, и авторитеты писателей позднейших; сбивчивое мнение Татищева, натянутое вынужденное новомиллеровское Ломоносова, забытое Тредьяковского — все эти мнения не могли соперничать с мнением, которое мастерски изложил еще Байер и потом подтвердил первый авторитет времени, Шлёцер, муж ученый и славный, по собственному выражению Карамзина. Глава оканчивается превосходным рассуждением о Несторовой хронологии.

Содержание третьей физический главы составляет нравственный характер Глава славян древних. начинается определением причин разности народов, и, согласно с Болтиным, главная причина указывается в разности климатов. Славяне были бодры, сильны, неутомимы благодаря умеренному и даже холодному климату обитаемых ими стран. Нравственные качества славянского племени представлены преимущественно со светлой стороны; не умолчено и о пороках, но вслед за тем приводятся и оправдания: напр., жестокость против греков объясняется местию, какую должны были питать славяне к грекам за жестокости последних. При описании обычаев о славянах западных говорится одинаково подробно, как и о славянах восточных; а так как известий об обычаях славян западных сохранилось в источниках гораздо более, то изложение обычаев, общественного быта, религии славян западных преобладает над описанием быта славян восточных, или русских. Поляне, древляне, радимичи со своим бытом, как описывает его начальный русский летописец, как бы исчезают, и вместо них в памяти читателя необходимо остается Виннета, Аркона, картина избрания герцога в славянской Каринтии, тем более что описания быта славян западных и восточных поставлены рядом, как дополняющие друг друга.

В IV главе Карамзин приступает к рассказу о начале государства Российского. Не он первый долго задумывался над этим событием, стараясь объяснить его: Миллер, Щербатов, Болтин, Шлёцер уже высказали свое мнение относительно побуждений к призванию князей и цели его. Но удивительно здесь то, что все эти писатели, позволяя себе разные толкования летописного известия, никак не хотели принимать этого известия вполне, никак не хотели признать тех побуждений и целей, какие выставлены летописцем, и придумывали свои, тогда как нужно было сделать что-нибудь одно: или отвергнуть вполне известие летописца, или, приняв его, принять вполне, со всеми изложенными в нем побуждениями и целями, и объяснять эти побуждения и цели, как они представлены у летописца, по обстоятельствам времени, а не придумывать вместо них своих побуждений и целей. Летописец говорит: «Изгнали Варягов за море и начали сами собою владеть; и не было в них правды, восстал род на род, и начались усобицы. Тогда сказали: "Поищем себе князя, который бы владел нами, рядил и судил по правде"». Теперь у нас при чтении этих строк невольно рождается мысль: как было хорошо, как облегчалось бы понимание русской истории, если бы все ее события были рассказаны в летописях с такою полнотою, как эта! Но как нарочно позднейшие писатели остались недовольны именно этим полным изложением, начали придумывать свои объяснения. Миллер, не обращая никакого внимания на слова летописца, что князья были избежания внутреннего безнарядья, вследствие ДЛЯ отсутствия правды призваны были судить и рядить, — Миллер объявил, что князья были призваны преимущественно для защиты

границ. Щербатов пошел дальше: для него догадка Миллера является не как догадка только, но как истина неоспоримая, как будто бы в летописи так именно и сказано, что князья были призваны для защиты границ. «Достойно примечания и то, — говорит Щербатов, — что новгородцы, избрав себе в государи сих трех князей... единственно токмо препоручили им, дабы они границы от вражеских нападений защищали». Болтин был ближе к истине: он привел в связь явление, которым начинается русская история, с последующими явлениями новогородской истории и объявил, что Рюрик с братьями были призваны с таким же значением, с каким после призывались князья в Новгород; но, имея ложное понятие о значении последующих князей Новгородских, начал, подобно Миллеру и Щербатову, говорить только о защите границ и о предводительстве войскам. Шлёцер принимает мнение предшественников, толкуя, что племенам нужны были только защитники, пограничные стражники. Но он делает уступку летописи и прибавляет, что князья могли быть обержупанами, оберстаршинами, даже судьями; а потом опять сбивается, приводит мнение Миллера, как провидевшего истину, и, чтобы подтвердить миллеровскую истину, начинает толковать о неопределенном значении слова Князь, как будто это значение в летописи не определено словами: владеть, судить, рядить по правде!

Карамзин также представил свое объяснение: по его мнению, варяги, будучи образованнее славян и финнов, правили последними без угнетения и насилия; бояре славянские вооружили народ против варягов, изгнали их, но не умели восстановить древних законов и ввергнули отечество в бездну зол междоусобия. Тогда вспомнили о выгодном и покойном правлении норманском и призвали князей. Понятно, ЭТО мнение гораздо ближе К делу, удовлетворительнее, чем мнение предшествовавших писателей; по Карамзину, варяги владели, а не грабили только, как утверждал Шлёцер. И действительно, если летописец говорит, что по изгнании варягов изгнавшие стали сами владеть, то ясно, что варяги владели; начавши владеть сами, племена не могли установить наряда, и Конечно, предположение призваны были князья. высшей образованности варягов введено несколько произвольно; касается бояр, то у летописца говорится, что встал род на род; но род предполагает родоначальников; у Карамзина же являются бояре, ибо мы видели, что в предыдущих главах он не остановился над объяснением быта, который он назвал поколенным. Но всего важнее мнении Карамзина во TO, ЧТО здесь неприкосновенными известия летописи о цели призвания, — важно то, авторитетом Шлёцера и Карамзин не увлекся господствующее мнение о пограничных стражниках. Но с меньшею справедливостию он отступает от Шлёцера в том, что признает одною догадкой вымыслом известия о новгородских событиях, И находящихся в Никоновском списке. Мы не думаем, чтобы было справедливо объяснение Шлёцера, почему эти известия находятся только в Никоновском списке, потому что сам же он приводит свидетельство Степенной книги; но, конечно, Карамзин не мог представить никакого объяснения, зачем эти известия были выдуманы и внесены в Никоновский список и Степенную книгу...

Мысль Шлёцера, что в раздаче Рюриком городов мужам своим лежали начатки феодальной системы, повторена и у Карамзина с оговоркою «кажется»; но отвергнуто предположение Шлёцера, что руссы, нападавшие на Константинополь в 866 году, не были руссы Аскольда и Дира; принято мнение большинства писателей с любопытным замечанием, что Аскольд и Дир могли и ранее 864 года овладеть Киевом. При известии о начатках христианства в Киеве помещено следующее объяснение успехов новой религии: «Славяне исповедовали одну Веру, а Варяги — другую; впоследствии увидим, что древние Государи Киевские наблюдали священные обряды первой, следуя внушению весьма естественного благоразумия; но усердие их к чужеземным идолам, которых обожали они единственно в угождение главному своему народу, не могло быть искренним, и самая государственная польза заставляла Князей не препятствовать успехам новой Веры, соединявшей их подданных, Славян, и надежных товарищей, Варягов, узами духовного братства».

Мы не можем разделить теперь мнение Карамзина о значительной разнице между религиею славян и варягов; мы знаем из летописей, что дружина княжеская, под которою Карамзин разумеет варягов, смеялась над христианами, тогда как не видим ни малейших следов отчуждения варягов от славянского язычества. Несмотря на то, замечание Карамзина любопытно в том отношении, что он обратил внимание на отношение религии двух народов, чего не делали писатели

предшествовавшие; правда, Татищев обратил на это внимание, но он киевских идолов Владимирова времени сделал варяжскими. Описание княжения Рюрикова Карамзин оканчивает следующими словами: «Память Рюрика, как первого Самодержавца Российского, осталась бессмертною в нашей Истории, и главным действием его княжения было твердое присоединение некоторых Финских племен к народу Славянскому в России, так что Весь, Меря, Мурома наконец обратились в Славян, приняв их обычаи, язык и Веру».

Пятая глава посвящена княжению Олега-правителя. Это княжение, о котором в летопись внесено довольное количество преданий, дает Карамзину возможность впервые выказать свой взгляд, свое мерило для оценки лиц и событий. Олег, пылая славолюбием героев, идет на юг с целью завоеваний; в Киеве он хитростию убивает Аскольда и Дира, и Карамзин спешит произнести приговор над этим поступком: «Простота, свойственная нравам IX века, дозволяет верить, что мнимые купцы могли призвать к себе таким образом Владетелей Киевских; но самое общее варварство сих времен не извиняет убийства жестокого и коварного». Вот изображение Олега после похода на греков: «Сей Герой, смиренный летами, хотел уже тишины и наслаждался всеобщим миром. Никто из соседов не дерзал прервать его спокойствия. Окруженный знаками побед и славы, Государь народов многочисленных, повелитель войска храброго мог казаться грозным и в самом усыплении старости. Он совершил на земле дело свое — и смерть его казалась потомству чудесною». Приведя предание о смерти Олеговой, автор продолжает: «Гораздо важнее и достовернее то, что Летописец повествует о следствиях кончины Олеговой: народ стенал и проливал слезы. Что можно сказать сильнее и разительнее в похвалу Государя умершего? И так Олег не только ужасал врагов: он был еще любим своими подданными... Но кровь Аскольда и Дира осталась пятном его славы».

Из предшествовавших Карамзину русских писателей каждый предлагал свое объяснение причин, почему Олег предпринял поход на юг, к Киеву. Так, напр., Татищев торжество Олега над Аскольдом и Диром приписывал тому, что последние приняли христианство и тем вооружили против себя язычников, призвавших Олега; Щербатов, следуя Синопсису и «Ядру Российской истории», думал, что Олег хотел воспользоваться слабостию киевских князей, потерпевших

поражение под Константинополем; Шлёцер объявил все эти историзирования и политизирования<sup>[9]</sup> чистыми вымыслами, объявил, единственным побуждением к походу для Олега завоевательский дух. Карамзин говорит, что Олег предпринял поход, «пылая славолюбием героев». Но Карамзин не последовал Шлёцерову мнению о договорах с греками, признал их достоверность и, последуй Болтину, вывел из этих договоров следующее: «Сей договор представляет нам Россиян уже не дикими варварами, но людьми, которые знают святость чести и народных торжественных условий; утверждающие безопасность имеют свои законы, собственность, право наследия, силу завещаний; имеют торговлю внутреннюю и внешнюю».

Шестая глава — княжение Игоря — не представляет замечательных особенностей; между этою главою в I томе «Историй государства Российского» и между третьего главою первого тома «Истории Российской» князя Щербатова мало разницы (исключая, разумеется, слога). Мы видели отзыв Карамзина об Олеге; следовательно, имеем право ожидать подобного же об Игоре: «Игорь в войне с Греками не имел успехов Олега; не имел, кажется, и великих свойств его: он сохранил целость Российской Державы, устроенной Олегом; сохранил честь и выгоды ее в договорах с Империею, был язычником, но позволял новообращенным Россиянам славить торжественно Бога Христианского и вместе с Олегом оставил наследникам своим пример благоразумной терпимости, достойный самых просвещенных времен», и проч.

Но большое различие от Щербатова и других предшествовавших писателей находим в начале седьмой главы, где говорится о деятельности княгини Ольги. Предшествовавшие писатели передавали предание о мести Ольгиной над древлянами как факт несомненный во всех подробностях, позволяя себе только иногда наивные восклицания насчет наивности древлян [10]. Но такое понимание Шлёцер объявил невероятно жалким и предложил свое образцовое объяснение происхождения преданий об Ольге и разделение их, Карамзин воспользовался замечаниями Шлёцера, но ограничил их и указал важное значение народных преданий для историка: «Прежде всего Ольга наказала убийц Игоревых. Здесь Летописец сообщает нам многие подробности [11], отчасти не согласные ни с вероятностями

рассудка, ни с важностию Истории и взятые, без всякого сомнения, из народной сказки; но как истинное происшествие должно быть их основанием и самые басни древние любопытны для ума внимательного, изображая обычаи и дух времени, то мы повторили Несторовы простые сказания о мести и хитростях Ольгиных».

Причиною, побудившею Ольгу к принятию христианства, Щербатов выставлял недостаточность славянского идолослужения, которую Ольга, одаренная великим разумом, не могла не понять, особенно слыша о чистейшей вере греков. По Карамзину, Ольга, будучи одарена умом необыкновенным, могла убедиться в святости христианского учения, с которым могла познакомиться в Киеве, и пожелала креститься, тем более что достигла уже тех лет, когда смертный чувствует суетность земного величия. О причинах, заставивших ее отправиться в Константинополь за крещением, ни тот, ни другой не говорят. Из предшествовавших писателей одни отвергали летописное предание о предложении греческого императора Ольге, другие старались объяснить его; Карамзин последовал первым.

Касательно войны Святослава с греками Щербатов, поставив рядом известие русского летописца с известиями византийскими, склоняется в пользу последних. Шлёцер разделяет мнение Щербатова, приходит в отчаяние от известий летописи о войне Святослава с греками, никак не хочет согласиться, чтобы эти известия принадлежали Нестору, и единственное утешение находит в надежде, что со временем отыщутся списки, в которыхдело рассказывается иначе, чем в списках, до нас дошедших. Карамзин следует Щербатову и Шлёцеру, но не выражается решительно и тем приближается более к первому, чем ко второму.

Восьмая глава, содержащая в себе рассказ об усобицах между сыновьями Святослава, не представляет замечательных особенностей против шестой главы второй книги Щербатова, имеющей то же содержание.

В девятой главе рассказываются события княжения Владимирова. Это княжение, относительно обильнейшее разнородными событиями, чем все предшествовавшие княжения, дает впервые видеть порядок, которому Карамзин, подобно предшествовавшим писателям, будет следовать при распределении событий. Это порядок летописный, хронологический; события следуют друг за другом, как в летописи, по

годам, а не совокупляются, по однородности своей, по внутренней связи между ними. Но бессвязность летописная должна была тяготить такого художника, каков был Карамзин: он старается сделать ее незаметною в своей «Истории» и для этого употребляет искусные внешние переходы между событиями, следующими в летописи друг за другом только по порядку лет.

Главное событие княжения Владимирова — великая религиозная христианства. Явления, относящиеся принятие религиозной деятельности Владимира сперва как язычника, потом как равноапостольного христианина, как князя, ЭТИ явления естественно выделяются из среды остальных, заставляют историка соединять их объяснением причины перехода от одних к другим, причем и открывается необходимо внутренняя связь между ними. Потом летопись предлагает известия о других, уже второстепенных по своему значению явлениях: о покорении племен славянских, о наступательных войнах на разные страны и народы, о войнах оборонительных против степных варваров, о некоторых внутренних распоряжениях; все эти явления подразделяются на несколько отдельных групп, но Карамзин располагает события в порядке летописном, хронологическом. Сперва говорится хитрости Владимира относительно варягов, о ревности к язычеству, потом о войнах, и здесь является рассказ разнородных принятии христианства. Известие об убиении двух варягов-христиан вставлено между известиями о войне с ятвягами и радимичами, причем сказано, что Владимир велел бросить жребий, тогда как в летописи об участии князя не говорится. Вообще, рассказ об этом событии любопытен, потому что показывает взгляд Карамзина на то, в каком отношении должен быть рассказ историка к рассказу летописца. В летописи, например, читаем: «Он (Варяг) стояше на сенех с сыном своим... рече: аще суть бози, то единаго собе послють бога, да имуть сын мой». У Карамзина: «Отец, держа сына за руку, с твердостию сказал: "Ежели идолы ваши действительно боги, то пусть они сами извлекут его из моих объятий"».

Между историками XVIII века был спор о побуждениях Владимира к походу на Корсунь. Щербатов думал, что поход был предпринят с целию принятия крещения; Болтин на основании Татищева утверждал, что поход был предпринят для получения руки

царевны Анны. Карамзин принял мнение Щербатова вместе с объяснением, зачем Владимир для принятия христианства хотел предварительно воевать с греками. Касательно известия о начатках книжного учения на Руси при Владимире Щербатов рассуждает так: «И тогда же рассуждая (Владимир), что всеянное семя святого Евангелия не может довольно вкорениться во вновь обращенных из идолопоклонения народах, есть ли прежняя суровость и невежество в них пребудут: чего ради он повелел учредить училищи». Карамзин говорит то же самое: «Владимир взял лучшия, надлежащия меры для истребления языческих заблуждений: он старался просветить Россиян. Чтоб утвердить Веру на знании книг Божественных... Великий Князь завел для отроков училища, бывшия первым основанием народного Щербатов Карамзин России». просвещения В И удовлетворительно объясняют причины этого поступка Владимирова, и мы не можем принять одностороннего объяснения позднейших исследователей [12]; но Щербатов и Карамзин не правы в том, что говорят о заведении училищ, тогда как в летописи об училищах нет ни слова.

Между известиями о войнах печенежских помещен рассказ о пирах Владимира и его благотворительности к народу, после чего следует известие о вирах. Это известие разделено на две части, причем слова, относящиеся ко второй части, приставлены к первой. Касательно второй части: «Оже вира, то на оружьи и на конях буди»; в примечании высказано недоумение, куда отнести буди: ко Владимиру или к вире? Но в тексте это слово отнесено к Владимиру. Вторая часть известия представлена в виде увещания к войне, и автор воспользовался этим, чтобы связать два известия, не имеющие отношения друг к другу, — известие о вирах с известием о войне печенежской. В этом последнем известии совершенно правильно объяснено выражение верховние вои, чем позабыли воспользоваться некоторые позднейшие исследователи.

Десятая и последняя глава первого тома содержит в себе известие о состоянии древней России от Рюрика до смерти Владимира Святого. Князь Щербатов ведет рассказ о политических событиях от Рюрика до смерти Юрия Долгорукого и тут только останавливается, чтобы взглянуть на внутреннее состояние русского общества в пройденный период. Карамзин счел за нужное остановиться на смерти Владимира

Святого, обозреть состояние новорожденного русского общества во время язычества и при первом князе христианском. Этот обзор очень любопытен, потому что в нем, хотя кратко, указано на все важнейшие общественные отношения. Вначале представлена огромность Русской государственной области в самый первый век ее бытия, хотя не упомянуты причины столь быстрого распространения государственной области и следствия такой громадности ее для будущего. Указано значение князя в словах призывавших его племен: «Хотим князя, да владеет и правит нами по закону». Мы уж говорили, как этим взглядом отличается Карамзин от всех своих предшественников, которые представляли первых князей в виде пограничных стражников. Указаны отношения дружины к князьям... По нашему мнению, во всей главе дано слишком много значения норманнскому элементу, который совершенно отделен от туземного. Относительно законодательства Карамзин думает, что варяги принесли в Россию общие гражданские законы, которые начали господствовать, вытеснив прежние славянские законодатели предков, обычаи. «Варяги, наших Карамзин, — были их наставниками и в искусстве войны... (Славяне) заимствовали от Варягов искусство мореплавания». Таким образом, мы видим, что варяжская система образовалась впервые в разбираемой главе; начальный период русской истории является уж здесь варяжским, хотя еще и не назван так.

Карамзин упоминает и о влиянии духовенства; не сомневается, что оно в первые времена решало не только церковные, но и многие гражданские дела, но отвергает устав Владимиров на том основании, что в нем находится имя патриарха Фотия. Далее упомянуто кратко о древнем чиноначалии, подробнее, удовлетворительнее — о торговле, деньгах, причем объясняется происхождение кожаных денег и вместе утверждается существование монет серебряных. В статье об успехах разума говорится о переводе Св. Писания, о происхождении языка книжного и народного; потом следует рассуждение о ремеслах и искусствах. Заключается нравах, глава статьею которые представляют, по словам Карамзина, смесь варварства с добродушием. Здесь повторена мысль Болтина, высказанная против Щербатова, что одно просвещение долговременное смягчает сердца людей. Вообще, мы должны заметить, что вся эта глава, как первый опыт многостороннего обзора новорожденного русского общества, имеет важное значение в нашей исторической литературе.

## Глава III

Второй том начинается рассказом о любопытных отношениях между сыновьями Св. Владимира. И княжение последнего наступило после усобиц и братоубийств; но эти усобицы произошли вследствие известного столкновения между киевским и древлянским князем спустя довольно долгое время после бесспорного утверждения сыновей Святославовых, каждого на его столе, от отца назначенном. Иной характер носит усобица сыновей Владимировых: здесь прежде всего летописец выводит на сцену двоих братьев — самого старшего и одного из самых младших. Права первого, по-видимому, бесспорны; младший прямо признает их, и, несмотря на то, дружина обнаруживает явное предпочтение в пользу младшего, в Киеве заметно колебание; старший видит в младшем опасного соперника, сознает непрочность свою на отцовском столе, употребляет различные средства, чтобы привлечь к себе киевлян, и, несмотря на кротость младшего брата, который сам лишил себя средств к борьбе, старший злодейством освобождается от соперника, который не перестает казаться ему опасным. Как же наш историк взглянул на эти любопытные отношения? Как изобразил их?

Рассказ летописца, исполненный благоговения к нравственному характеру младшего брата, исполненный глубокого негодования к всего произвел сильное убийце его, прежде впечатление нравственное чувство историка, и это сильное впечатление определило характер повествования последнего. «Святополк — похититель престола», — читаем мы в начале оглавления первой главы второго тома. Святополк похититель, потому что он злодей. Младший брат падает жертвою своей нежной чувствительности; властолюбец не довольствуется одним преступлением: он убивает еще двоих братьев так завязывается на Юге кровавая драма. Для ее вполне удовлетворяющей нравственное чувство развязки является мститель с Севера; но прежде на этом Севере, в Новгороде, происходят также события, которые должны были одинаково сильно нравственное чувство историка, и здесь летописец рассказывает о враждах, убийствах; но все забывается, когда Ярослав говорит новгородцам о страшных преступлениях Святополка: многочисленное войско собирается и выступает с князем для наказания братоубийцы, который заслуживает проклятие современников и потомства. «Имя окаянного осталось в летописях неразлучно с именем сего несчастного Князя: ибо злодейство есть несчастие». Отношения между сыновьями Владимира были одним из тех оазисов, которых Карамзин, по его собственному выражению, искал среди пустыни; в рассказе об этих отношениях Карамзин высказался вполне как человек и как повествователь; вот почему этот рассказ так важен для нас. У предшествовавшего историка — князя Щербатова видим попытку объяснить поведение новгородцев; но Карамзин остался вполне верен первому впечатлению, произведенному на него рассказом летописца.

Вторая глава содержит в себе княжение Ярослава в Киеве. Мы не будем останавливаться на приговорах поведению Мстислава Тмутороканского после Лиственской битвы: зная господствующий взгляд автора, мы вправе ожидать подобных приговоров. Но мы объяснением происхождения остановиться над должны называемой удельной системы. «Ярослав ожидал только возраста сыновей, чтобы вновь подвергнуть Государство бедствиям Удельного Правления... Как скоро большому сыну его, Владимиру, исполнилось шестнадцать лет, Великий Князь отправился с ним в Новгород и дал ему сию область в управление. Здравая Политика, основанная на опытах и знании сердца человеческого, не могла противиться которая обратилась действию слепой любви родительской, несчастное обыкновение». По Щербатову, Ярослав отдал Новгород Владимиру, «желая себя облегчить в тягости правления, таковым учинившимся ради великого пространства его владений».

И Щербатов почел не бесполезным показать содержание законов Ярославовых, известных под именем Русской правды; но не изложил причины, почему это не бесполезно. По Карамзину: «Сей остаток древности, подобный двенадцати доскам Рима, есть верное зеркало тогдашнего гражданского состояния России и драгоценен для истории». Признавая такую важность Русской правды, Карамзин посвящает ей целую третью главу. Между статьею Карамзина о Русской правде и статьею Щербатова о том же памятнике огромная разница, показывающая, какие успехи сделала русская наука в конце XVIII и начале XIX века. Карамзин рассматривает сначала, как

законодатель утвердил личную безопасность и неотъемлемость собственности, потом общие постановления для улики и оправдания, наконец, законы о наследстве. Мы видели, как уже прежде Карамзин высказал свой взгляд относительно источника древнего русского законодательства: по его мнению, варяги принесли с собою общие гражданские законы в Россию; при изложении Русской правды он остается верен этому взгляду.

Наконец, Карамзин воспользовался Русскою правдою для определения гражданских степеней в древней России и вывел из ее статей следующие два заключения, важные по влиянию своему на последующие мнения о древнерусской истории. Первое заключение о телесных наказаниях, причем мнение Монтескье о древних германских законах прилагается к древним русским, и прилагается не совсем удачно, ибо в предшествующем изложении того, чем виновный платил за вину, заключается опровержение слов Монтескье, равно как в статье о ключниках и проч. Второе важное заключение состоит в том, что варяги не завоевали Россию, ибо в статье о вирах нет различия между варягом и славянином. В заключение считаем нелишним сравнить следующие отзывы Щербатова и Карамзина о Русской правде. «Я не буду, — говорит Щербатов, — оправдывать сии законы; ибо, дабы полезность их знать, надлежало бы точнее иметь сведение о всех обрядах, нравах, упражнениях и обычаях сих народов и войти в точное состояние их, чего нам невозможно учинить; я могу только то предложить, что ни одни россияне пенями за смертоубийство наказывали, но и все почти северные народы то чинили, которого может быть сии Российские законы подражанием были». По мнению Карамзина, устав Ярославов содержит в себе полную систему нашего древнего законодательства, сообразную с тогдашними нравами.

Мы видим, что Карамзин отвергнул Шлёцерово деление русской истории на пять главных периодов: на Россию рождающуюся, разделенную и т. д. Мы не постояли за деление Шлёцера, ибо оно чисто внешнее, не дающее ни малейшего понятия о ходе русской истории как русской истории; мы признали деление Карамзина лучшим, причем показали несостоятельность возражений последующих писателей против этого деления. Шлёцер, как сказано, понял два своих первых периода — Россия рождающаяся и Россия разделенная — чисто внешним образом, ибо не показал отношений,

необходимой связи между этими двумя периодами, между этими двумя названиями, не показал, что Россия потому была необходима разделенною, что была только что родившеюся. Так понимаем мы дело теперь, но не так понимали его в XVIII веке, не так понимали его и в начале XIX. Карамзин отвергнул деление Шлёцера точно так, как последующие писатели, вместо того чтобы точнее определить деление Карамзина на древнюю, среднюю и новую Русскую историю, отвергли его как несправедливое. Мы видели, на каком основании Карамзин отвергнул Шлёцерову характеристику первого периода — Россия рождающаяся. «Век Св. Владимира, — говорит он, — был уже веком могущества и славы, а не рождения».

отвергнув, что Россия до половины XI века была рождающеюся, Карамзин естественно не признал связи между Россиею до Ярослава и Россиею после него; отвергнув рождение государства, признав это государство в самом начале могущественным и славным, он по тому самому не признал в последующем периоде постепенного, хотя трудного и медленного возрастания и окрепления государства; этот период явился для историка только временем бедствий, временем слабости и разрушения. Вот что говорит Карамзин о времени, наступившем по смерти Ярослава I: «Древняя Россия погребла с Ярославом свое могущество и благоденствие. Основанная, возвеличенная Единовластием, она утратила силу, блеск и гражданское счастие, будучи снова раздробленною на малые области. Владимир исправил ошибку Святослава, Ярослав Владимирову: наследники их не могли воспользоваться сим примером, не умели соединить частей в целое, и Государство, шагнув, так сказать, в один век от колыбели своей до величия, слабело и разрушалось более трехсот лет. Историк чужеземный не мог бы с удовольствием писать о сих временах, скудных делами славы и богатых ничтожными распрями... Но Россия нам Отечество: ее судьба и в славе, и в уничижении равно для нас достопамятна. Мы хотим обозреть весь путь Государства Российского, от начала до нынешней степени оного... История предков всегда любопытна для того, кто достоин иметь Отечество».

При таком взгляде на характер времени, протекшего от смерти Ярослава I до образования Московского государства, Карамзин естественно не остановился над объяснением отношений между потомками Ярослава I. «Изяслав считал себя более равным, нежели

Государем братьев своих». Вот все, что находим у него об отношениях между сыновьями Ярослава. Кн. Щербатов об этих отношениях выражается так: «Хотя и видели мы, что каждый из владеющих в России князей особливо свое княжение правил, однако во всем том, что касалось до общего блага и великой важности было, в том они все с общего согласия поступали».

Известно, каким сильным возражениям со стороны талантливого Неймана подвергся рассказ Карамзина об отношениях между сыновьями Ярослава  $I^{[13]}$ . Между этими возражениями есть некоторые, действительно вполне основательные; но со многими согласиться. Основательно опровергнуты положения, что Игорь получил удел не от отца, а от старшего брата; что уже в то время существовали частные и особенные уделы; что Игорь сначала получил удел первого, а потом второго рода; о доверенности, оказанной Ростиславом Катапану, о торжественном объявлении последнего касательно смерти Ростиславовой; о побуждениях херсонцев убить Катапана; о характере Ростислава; о значении его смерти для тогдашней России; о побуждениях Всеслава Полоцкого к войне с Новгородом; о побуждениях Ярославичей к войне с Всеславом. Нельзя согласиться также с Карамзиным насчет причины победы черниговцев над половцами; насчет побуждений, которые имел Изяслав, взогнать торг на гору, потому что мы не можем знать в подробности всех обстоятельств того времени; не можем признать внезапности перехода от дружественных отношений между Ярославичами к враждебным; не думаем, чтобы поведение Олега можно было приписать одному врожденному властолюбию, потому что князь, несправедливо лишенный волости, и без особенного властолюбия мог желать приобрести ее, тем более что ничего не знаем о ласках, которые оказывал ему дядя Всеволод.

Но с другой стороны, неосновательно возражение Неймана против того, что все Ярославичи действовали сообща при переводе Игоря в Смоленск из Владимира. Карамзин имел полное право утверждать это на основании множественной формы посадиша, тем более что в рассказе летописца об освобождении Судислава прямо показаны Ярославичи действующими сообща; различие же, которое хочет Нейман установить между первым и вторым случаем, — явная натяжка. Сказав о занятии Тмутороканя Ростиславом

Владимировичем, изгнавшим оттуда Глеба, сына Святославова, Карамзин продолжает: «Святослав спешил туда с войском: племянник его, уважая дядю, отдал ему город без сопротивления; но когда Черниговский удалился, Ростислав Князь снова овладел Тмутороканем». Нейману не понравился этот рассказ; он сравнивает его с рассказом летописца: «Иде Святослав на Ростислава к Тмутороканю; Ростислав же отступи кроме из града, не убоявься его, но нехотя противу стрыеви своему оружья взяти». Нейман говорит: «Вот простой рассказ летописи. Ни слова об уважении!» Потом сам задает себе вопрос: «Но разве не доказывает уважение Ростислава к дяде то, что он отступал перед ним и добровольно отдал ему город?» — и отвечает: «Разумеется, не доказывает какого-нибудь особенного уважения со стороны Ростислава, потому что вслед за темон снова выгнал его сына. Поведение Ростислава должно бы нам казаться в высшей степени странным и необъяснимым, если б обычаи того времени не давали нам ключа к объяснению этой загадки. Уважение к старым родичам, именно к тем, которые заступали место отца, было обязанностью, освященною обычаем, которого никто из благомыслящих людей не смел нарушить. У Ростислава уж не было в живых отца; поэтому брат отца, дядя, заступил для него место отца. Уважение, которым он был ему обязан, было уважением чисто личным: он не смел поднять против него меча. На сына дяди, бывшего с ним одних лет или даже моложе его, эта обязанность не простиралась». Нейман утверждает, что уважение, которое Ростислав питал к дяде, было священною обязанностию, что это уважение было личное, и в то же время говорит, что в летописи об уважении ни слова, а потом говорит, что здесь нет какого-нибудь особенного уважения!..

Далее следующее место летописи: «Ростиславу сущю Тмуторокани и емлющи дань у Касог и в инех странах, сего же убоявшеся Грьци». Карамзин переводит так: «Скоро народы горские, Касоги и другие должны были признать себя данниками юного Героя, так что его славолюбие и счастие устрашили Греков». Нейман не соглашается с тем, что Ростислав силою заставлял касогов и другие народы платить себе дань. Он говорит: «Слова летописи, находящиеся во всех списках, указывают на то, что дань бралась без всякого сопротивления и что взимание ее было соединено с покойным обладанием Тмутороканью». Но спрашивается: чего же испугались

греки, если Ростислав жил мирно в Тмуторокани, не распространял своих владений и спокойно только пользовался данью, которую издавна некоторые соседние народы платили его княжеству? Почему же они не боялись Глеба Святославича, который до Ростислава княжил в Тмуторокани? Нейман сам понимал неосновательность своего возражения и потому старался прикрыть его новою натяжкою. «Кажется, — говорит он, — что греки не столько боялись Ростислава лично, сколько последствия его деятельности, то есть основания независимого княжества в Тмуторокани». Но чем независимее было это княжество от остальной Руси, тем слабее, тем меньше, следовательно, надлежало бояться его.

Так как одна из целей нашего настоящего исследования — «Историю государства Российского» в связи рассмотреть предшествовавшими явлениями русской исторической литературы, то мы должны здесь заметить, что некоторые положения Карамзина, справедливо или несправедливо опровергаемые Нейманом, находятся и у князя Щербатова. Например, Щербатов точно так же в перемещении Игоря из Владимира в Смоленск видит общее действие Ярославичей; о поведении Ростислава относительно дяди Щербатов говорит: «Ростислав же, свято ль наблюдая почтение к дяде своему или ради каких других причин, получа известие о пришествии Святослава, из Тмуторокани вышел». Причина страха греков пред Ростиславом у Щербатова выставлена та же, что и у Карамзина; отношения Катапана к Ростиславу рассказаны иначе, именно так, как хочет Нейман, а причина умерщвления Катапана херсонцами та же самая, что и у Карамзина.

Любопытно сравнить у обоих историков начало рассказа о княжении Всеволода Ярославича, потому что здесь впервые обнаружилась эта особенность древней русской истории, что великому князю наследовал брат, а не сын. Щербатов поражен странностью явления и начинает придумывать объяснения ему. Он говорит так: «Всеволод, быв от роду 48-ми лет, взошел после смерти брата своего Изяслава на главное Российское киевское княжение. Хотя сие его восшествие на престол и не совершенно порядочно является, потому что после Изяслава остались сыновья уже в довольном возрасте, чтоб принять правление княжения отца их; однако по невоспоследовавшим от этого никаким смущениям, и потому, что упоминается, что

Всеволод дал Ярополку, сыну Изяслава, Владимир с придачею еще Турова, мнится мне, что это возведение его на Киевский престол учинено вследствие учиненного между им и Ярополком какого-то договору; коему обычаю, чтоб брат после брата в престолах наследовал, и впредь почти всегда последовали, яко будем иметь случай о сем яснее предложить». Щербатов яснее, по его мнению, предложил это в конце V книги своей «Истории», где говорит: «О состоянии России, ее законов, обычаев и правлений»; его объяснение здесь состоит в следующем: князья всегда сами предводительствовали войском — это была их главная обязанность; князь малолетний не мог исполнить ее: отсюда и преимущество, какое получили дядья пред племянниками в наследстве престола.

Разумеется, мы только с уважением и любопытством можем смотреть на эту первую остановку над любопытнейшим из явлений нашей древней истории, на первую попытку объяснить его. Таков обычный ход нашей науки — начинать со внешнего, ближайшего к понятиям историка и потом, вглядываясь все внимательнее и внимательнее в глубь веков, объяснять неудобопонятные для нас явления древности согласнее не с нашими, но с тогдашними понятиями и обычаями. Так уж у самого Щербатова мы видим два первых шага на упомянутом поприще: сначала встречаем объяснение договором, явлением чисто случайным, потом древний порядок престолонаследия объясняется уж особенными обстоятельствами того времени, которое требовало всегда совершеннолетнего князя. Карамзин пошел еще далее: он объясняет явление не случайным обстоятельством, не договором и не потребностию постоянной внешней защиты, а тогдашним образом мыслей, тогдашними нравами: Изяславов, НО Всеволод наследовал Великокняжеский. Дядя, по тогдашнему образу мыслей и всеобщему уважению к семейственным связям, имел во всяком случае права старейшинства и заступал место отца для племянников».

Княжение Всеволода Ярославича описано у Карамзина правильнее, чем у Щербатова, относительно подробностей, например генеалогических; смуты, произведенные недовольными князьями, у обоих историков описаны одинаково; у Карамзина, впрочем, действующие лица и события характеризованы согласнее с понятиями новейшего времени; недоверие к Татищеву еще более приближает

Карамзина к Щербатову, которого он [14] защищает от Болтина, крепко стоявшего за Татищева. В своде Татищева, например, сказано, что Ярополк Изяславич собирался идти на Всеволода за то, что последний отдал часть его волости Давиду Игоревичу. Карамзин отвергает это на основании древнейших списков; но и в древнейших списках летописи связь выражений такова, что не допускает иного объяснения. «Всеволод же послав приводе и (Давида), и вда ему Дорогобуж. Ярополк же хотяше ити на Всеволода». Касательно отношения рассказа Карамзина к рассказу летописца сравним следующее место: у летописца — «приде Ярополк из Ляхов и сотвори мир с Володимером, и иде Володимер вспять Чернигову; Ярополк же седе Володимери». У Карамзина: «Ярополк, не сыскав заступников вне России, скоро умилостивил Всеволода искренним раскаянием и, заключив мир с его сыном Мономахом в Больший, получил обратно свое Княжение».

Сравним несколько мест и в рассказе о княжении Святополка. У летописца: «Наша земля оскудела есть от рати и от продаж»; у Карамзина: «Область Киевская, изнуренная войнами, источенная данями, опустела». У летописца Мономах говорит: «Зде стояче через реку, в грозе, створим мир с ними (половцами)»; у Карамзина: «Половцы видят блеск мечей наших и не отвергнут мира». Слова князей на Любечском съезде в летописи: «Почто губим русскую землю, само нося котору деюще? а Половци землю нашю несут розно, и ради суть оже межи наши рати; да поне отселе имем ся в едино сердце и блюдем русскыи земли». У Карамзина: «Они (князья) благоразумно рассуждали, что отечество гибнет от их несогласия; что им должно наконец прекратить междоусобие, вспомнить древнюю славу предков, соединиться душею и сердцем, унять внешних разбойников, Половцев, — успокоить Государство, заслужить любовь народную». Слова дружины Святополковой и Мономаха у летописца: «Они же рекоша: не веремя ныне погубити смерьды от рольи. И рече Володимер: како я хочу молвити, а на мя хотят молвити твоя дружина и моя, рекуще: хощет погубити смерды и рольи смердом? но се дивно ми, оже смердов жалуете и их коний, а сего не помышляюще, оже на весну начнет смерд тот орати лошадью тою, и приехав Половчин и проч.». У Карамзина: «Дружина Великого Князя говорила, что весна неблагоприятна для военных действий; что если они для конницы

возьмут лошадей у земледельцев, то поля останутся не вспаханы и в селах не будет хлеба».

Описание княжения Святополкова, заключающееся в шестой главе второго тома, оканчивается следующим любопытным местом: «Описание времен Святополковых заключим известием, что Нестор при сем Князе кончил свою летопись, сказав нам в 1106 году о смерти доброго девяностолетнего старца Яня, славного Воеводы, жизнию подобного древним Християнским праведникам и сообщившего ему исторического творения. сведения многая ДЛЯ его Отселе путеводителями другие, также современные будут нашими Летописцы». Татищев, как уж было сказано выше, первый начал отыскивать место, где должен был остановиться начальный летописец Нестор; он думал, что отыскал это место под 1093 годом, где находится Аминь, другое аминь находится там, где явно говорит Сильвестр, игумен Выдубецкого монастыря; следовательно, заключает Татищев, весь рассказ, заключающийся между двумя именами, между 1094 и 1116 годами принадлежит уже Сильвестру, а не Нестору. Мюллер не соглашается с Татищевым на том основании, что и далее 1093 года, под 1096 годом, говорит так же монах Киево-Печерского, а не Выдубецкого монастыря, а именно при описании нашествия половцев на Киев встречаем выражение: «Нам сущим по кельям почивающим». Шлёцер согласился с Мюллером и объявил, что, вероятно, Нестор продолжал писать до 1116 года; что приписка Сильвестра служит не окончанием его труда, но началом. Карамзин (в примечании к приведенному выше месту) согласился с Мюллером и Шлёцером относительно замечания Татищева, но объявил, что Сильвестр был не продолжателем Нестора, а только переписчиком. «Тут написах, говорит Карамзин, — значит списал; в конце многих рукописных Евангелий, Псалтирей и других церковных книг видим такие подписи. Если бы Сильвестр... был сочинитель, то он в 6624 году не оставил бы шести лет... без описания, которое уже следует за его подписью, и, без сомнения, есть труд иного, для нас безыменного человека. Судя по кратости следующих известий, думаю, что сей безыменный начал писать не прежде 1125 или 1127 года; ибо с сего времени известия делаются вдруг гораздо подробнее». Относительно места, где именно остановился Нестор, Карамзин говорит, что с точностью определить

его нельзя: вероятно, что оно находится около 1110 года, под которым во многих древних списках встречаем слова Сильвестровы.

В конце главы, заключающей в себе княжение Мономаха, мы с характера любопытством останавливаемся на оценке ЭТОГО знаменитого деятеля нашей древней истории. И у Щербатова, и у Карамзина находим оценку характера Мономаха, как человека и владетеля вообще, без отношения ко времени и народу, которого он был представителем. У Щербатова читаем: «Сей государь, как довольно из истории его можно было приметить, был нрава кроткого, довольно храбр, но не ищущий войны, а паче желая чрез доброе согласие и мирные договоры до желаемого конца достигнуть». У сердечным «Владимир отличался Христианским Карамзина: умилением... не менее хвалят Летописцы нежную его привязанность к отцу... снисхождение к слабому человечеству, милосердие, щедрость, незлобие... Он не сокрушил чуждых Государств, но был защитою, славою, утешением собственного, и никто из древних Князей Русских не имеет более права на любовь потомства: ибо он с живейшим усердием служил отечеству и добродетели». Подобный же отзыв встречаем и о сыне Мономаха Мстиславе. Превосходные достоинства последнего, по мнению Карамзина, удерживали частных князей в границах благоразумной умеренности; кончина его разрушила порядок. Различие в характере новых усобиц, начавшихся по смерти Мстислава, и прежних не показано, равно как не уяснены новые отношения, возникшие между членами Мономахова потомства. Виною смуты выставлена слабость нового великого князя, Ярополка, которая обнаружилась излишней снисходительности... Из летописца и самого автора мы не видим, однако, в чем состояла слабость и излишняя снисходительность Ярополка: мы видим только старание великого князя при распределении волостей удовлетворить как старшим, так и младшим родичам и этим удовлетворением восстановить спокойствие на Руси. Ярополк был уже близок к своей цели, как вдруг страшные движения брата Вячеслава разрушили его добрые намерения и повели к новой усобице, в которой, конечно, мы не имеем права упрекать Ярополка. Касательно Супойской битвы, имевшей такое важное значение в этой усобице, сравним рассказ летописца и рассказ Карамзина. У первого читаем: «И вскоре Ярополк, с дружиною своею и с братьею, ни вой своих съждавше, ни

нарядившеся гораздо, устремишася боеви, мняще, яко не стояти Ольговичем против нашей силе, и бывшю съступлению обеими полками, и бишася крепко, но вскоре побегоша Половцы Олгове, и погнаша по них Володимерича дружина лутшая, а князя их Володимерича бъяхся со Олговичи. И бысть брань люта, и мнози от обоих падаху. Видивше же братья вся, Ярополк, Вячеслав, Гюрди и Андрей, полкы своя възмятены, отъехаша в свояси. Тысячный же с бояры их переже гнаша по Половчих, избиша е и воротишася опять на полчище, и не обретоша княжьи своея, и упадоша Олговичем в руце, и тако изъимаша е». Из этого рассказа ясно видно, что было причиною неудачи Владимировичей: неосторожность, самонадеянность в самом начале — войска было мало, и то не было устроено; от этого и без того малочисленного войска отделилась еще лучшая дружина преследования половцев, вследствие чего все четверо Мономаховичей, несмотря на то что бились крепко, принуждены были оставить поле сражения, видя полки свои взмятенными. У Карамзина этот рассказ передан так: «В жестокой битве на берегах Супоя Великий Князь лишился всей дружины своей, она гналась за Половцами и была отрезана неприятелями, ибо Ярополк с большею частию войска малодушно оставил место сражения». Но если мы не можем быть довольны рассказом о княжеских отношениях, то в то же время не можем не признать верности замечания Карамзина о времени перемены в новгородском быте.

Рассказ о княжении Всеволода Ольговича и о борьбе Изяслава Мстиславича с дядею Юрием носит такой же характер, как и рассказ о княжении Ярополка. Любопытнее для нас мнение автора о важном событии, после которого главная сцена действия переносится с Юга на Север. Князь Щербатов останавливается на смерти Юрия Долгорукого, помещает обзор внутреннего состояния России и в следующей затем первой главе шестой книги говорит: «Кончина великого князя Георгия великия перемены в России приключила и так, можно сказать, совсем ей новый вид дала; ибо как во все время жизни своей князь Георгий не преставал или добиваться, или сохранять киевский престол, самое сие привело в такое ослабление сие первое Российское княжение, что уж после смерти его оно владычествовать другими не могло... Как тогда Суздальское княжение простиралось на Владимир, Ростов, Москву и с одной стороны касалось киевскому и черниговскому, а с другой

границам болгар и, сверх того, по пространности своей довольно многолюдно было, то уж силою своею стало власть киевскую превышать, и частая перемена князей киевских, их междоусобные войны, частые нашествия половцев, а с другой стороны, непрерывное и покойное царствование сего князя Андрея учинило, что сие его княжение еще при жизни его стало владычествующим, или первым, образом, Щербатов Таким России княжением почитаться». усиления северного только ограничился причин указанием Суздальского княжества пред Киевским.

Карамзин взглянул на дело с другой стороны: он не коснулся причин усиления Суздальского княжества и обратил все свое внимание на причины, заставившие Андрея Боголюбского предпочить Север Югу; по его мнению, Суздальская область вовсе не была сильнее Киевской; она была спокойнее последней, но менее образована; Владимир, по его словам, был обязан своею знаменитостью нелюбви Андреевой к Южной России. «Феатр алчного честолюбия, злодейств, грабительств, междоусобного кровопролития, Россия южная, в течение двух веков опустошаемая огнем и мечом, иноплеменниками и своими, казалась ему обителию скорби и предметом гнева Небесного. Недовольный, может быть, правлением Георгия и с горестию видя народную к нему ненависть, Андрей по совету шурьев своих, Кучковичей, удалился в землю Суздальскую, менее образованную, но гораздо спокойнейшую других. Там он родился и был воспитан; там народ еще не изъявлял мятежного духа... Суздаль, Ростов, дотоль управляемые Наместниками Долгорукого, единодушно признали Андрея Государем. Любимый, уважаемый подданными, сей Князь, славнейший добродетелями, мог бы тогда же завоевать древнюю столицу; хотел единственно тишины долговременной, благоустройства в своем наследственном уделе; основал новое Великое Княжение Суздальское или Владимирское и приготовил Россию Северо-Восточную быть, так сказать, сердцем Государства нашего, оставив полуденную в жертву бедствиям и раздорам кровопролитным». Тогда как у Щербатова Юго-Западная Русь изнемогла вследствие неблагоприятных обстоятельств, а Северо-Восточная возвысилась, заняла ее место, вследствие того что в ней этих неблагоприятных обстоятельств не было, у Карамзина Северо-Восточная Русь обязана своим возвышением единственно личным достоинствам Андрея Боголюбского и нерасположению его к Юго-Западной Руси, которая казалась ему обителью скорби и предметом гнева Небесного. По мнению Карамзина, сила Андрея заключалась единственно в его добродетелях: «Сей Князь, славнейший добродетелями, мог бы тогда же (тотчас по смерти отца) завоевать древнюю столицу».

Добродетели Андрея давали ему превосходство, силу пред прочими князьями, разум превосходный заставил его стремиться к искоренению вредной удельной системы: «Андрей Георгиевич, ревностно занимаясь благом Суздальского Княжения, оставался спокойным зрителем отдаленных происшествий. Имея не только доброе сердце, но и разум превосходный, он видел ясно причину государственных бедствий и хотел спасти от них, по крайней мере, свою область: то есть отменить несчастную Систему Уделов, княжил единовластно и не давал городов ни братьям, ни сыновьям».

## Глава IV

Мы видели, как оба историка, и Щербатов и Карамзин, признали важность дела Андрея Боголюбского, оставшегося по получении старшинства жить на Севере; оба они остановились на этом событии, оба старались объяснить его: Щербатов приписал его усилению Севера предпочтительно пред Югом, Карамзин — личным отношениям Андрея; ни тот, ни другой не коснулись следствий события. Карамзин при описании побуждений Андрея к предпочтению Севера намекнул об особенностях характера северного народонаселения; но, говоря потом о характере Андрея, о значении его княжения, не повторил этого выразил сожаление, что Андрей, по своему личному расположению, покинул Юг для Севера, и таким образом Карамзин ясно высказал мысль, что и Юг был вполне способен к произведению того порядка вещей, который утвердился на Севере. Вот этот об Андрее: «Боголюбский, любопытный ОТЗЫВ мужественный, трезвый и прозванный за его ум вторым Соломоном, был, конечно, одним из мудрейших Князей Российских в рассуждении Политики, или той науки, которая утверждает могущество государственное. Он явно стремился к спасительному Единовластию, и мог бы скорее достигнуть своей цели, если бы жил в Киеве, унял Донских хищников и водворил спокойствие в местах, облагодетельствованных Природою, издавна обогащаемых торговлею и способнейших к гражданскому образованию. Господствуя на берегах Днепра, Андрей тем удобнее подчинил бы себе знаменитые соседственные Уделы: Чернигов, Волынию, Галич; но, ослепленный пристрастием к северо-восточному краю, он хотел лучше основать там новое сильное Государство, нежели восстановить могущество древнего на Юге». Причины смерти Андреевой рассмотрены Карамзиным и Щербатовым независимо от общего характера деятельности этого князя; независимо от нового приобретенного Севером при Андрее, рассмотрено Карамзиным и дело епископа Феодора, которое он, однако, называет удивительным и важным. На борьбу с Ростиславичами не обращено особенного внимания.

Любопытные события, происходившие на Севере по смерти Андрея Боголюбского, рассказаны у Щербатова и у Карамзина почти одинаково; важное рассуждение летописца, раскрывающее пред нами тогдашние отношения городов друг к другу, у обоих историков не приведено в целости, особо, а некоторые места из всего отдельно вставлены в рассказ о событиях, отчего смысл рассуждения теряет свою силу; вообще важнейшие отношения, которые связуют рассказываемые события с предыдущими, не являются на первом плане; притом, однако, мы должны заметить, что рассказ Карамзина гораздо удовлетворительнее, чем рассказ Щербатова; у первого не встречаем тех неуместных рассуждений о причинах событий, какие находим у второго, каково, например, рассуждение, почему суздальцы и ростовцы обратились в бегство в битве с Михаилом Юрьевичем.

На деятельность Всеволода III оба историка смотрят одинаково. По Щербатову, Всеволод «как силою своею, так и мудростию всю Россию почти в подданстве у себя содержал»; Карамзин в одном месте «Имея тайные намерения, он (Всеволод) не совершенного падения Черниговских Князей, чтобы не усилить тем Киевского и Смоленского, равно противных замышляемому им Единовластию». В другом месте говорит, что Всеволод подобно Андрею Боголюбскому напомнил России счастливые ДНИ единовластия. Но, признавая в Андрее Боголюбском и Всеволоде III стремления к единовластию, оба историка не признают ничего предание, постоянно подобного преемниках, порывают сохранявшееся у северных князей, порывают необходимую связь явлений, вследствие чего период от смерти Всеволода III до самого Иоанна Калиты лишен у них всякого значения; ничто не связывает деятельности Калиты и деятельности Всеволода III.

Вот что говорит Карамзин в начале главы о состоянии России с XI до XIII века: «Ярослав, могущественный и самодержавный, подобно Св. Владимиру, разделил Россию на Княжения; хотел, чтобы старший сын его, называясь Великим Князем, был Главою отечества и меньших братьев и чтобы Удельные Князья, оставляя право наследства детям, всегда зависели от Киевского, как присяжники и знаменитые слуги его. Отдав ему многолюдную столицу, всю юго-западную Россию и Новгород, он думал, что Изяслав и наследники его, сильнейшие других Князей, могут удерживать их в границах нужного повиновения и

наказывать ослушников. Ярослав не предвидел, что самое Великое Княжение раздробится, ослабеет и что Удельные Владетели чрез союзы между собою или с иными народами будут иногда предписывать законы мнимому своему Государю. Уже Всеволод I долженствовал воевать с частным Князем его собственной области, а Святополк II ответствовал как подсудимый на вопросы Князей Удельных. Одаренные мужеством и благоразумием, Мономах и Мстислав I еще умели повелевать Россиею; но преемники их лишились сей власти, основанной на личном уважении, и Киев зависел наконец от Суздаля. Если бы Всеволод III, следуя правилу Андрея Боголюбского, отменил Систему Уделов в своих областях; если бы Константин и Георгий II имели государственные добродетели отца и дяди, то они могли бы восстановить Единовластие. Но Россия, по кончине Всеволода Георгиевича, осиротела без Главы, и сыновья его совсем не думали быть Монархами».

При таком взгляде понятно, почему автор не дал особенного значения знаменитым событиям, последовавшим на Севере по смерти Всеволода III; почему не только Георгий и Константин Всеволодовичи являются недостойными преемниками отца своего и деда, не умевшими поддержать их стремлений, но даже и любопытная, резко выдающаяся деятельность третьего брата, Ярослава, не нашла себе надлежащей оценки. В то время как Мстислав Удалой величается искусным политиком, Ярослав называется только надменным и мстительным, и причиною борьбы его с Новгородом являются только эти его качества.

Мы привели взгляд Карамзина на деятельность Андрея Боголюбского, брата его Всеволода III и преемников их, как этот взгляд выражен в начале VII главы III тома. Глава эта, заключающая изображение состояния России с XI до XIII века, очень замечательна и сама по себе, особенно же заслуживает внимания по сравнению с подобною же главой у Щербатова, которую бесконечно превосходит, несмотря на то что при настоящем состоянии науки мы со многим в ней уже не можем согласиться. Высказав приведенное мнение о характере деятельности князей, Карамзин говорит, что «Ярослав разделил Государство на четыре области, кроме Полоцкой... в течение времени каждая из оных разделилась еще на особенные Уделы, и Князья первых стали после называться Великими в отношении к

частным, или Удельным, от них зависевшим»; в примечании же он говорит: «В сем смысле Рязанские, Тверские, иногда Смоленские и Черниговские именовались Великими, а не Местными, как сказал Болтин. Последнее название принадлежит новейшим временам. Князь Местный значил то же, что Поместный, он был ниже Удельного или Владетельного».

Но здесь прежде всего нужно было определить время, когда князья рязанские, тверские, смоленские стали называться великими. Конечно, не в период с XI до XIII века; Болтин не прав: название местных князей не относится к князьям рязанским, тверским, смоленским, а принадлежит действительно позднейшему времени; но так же точно к позднейшему времени принадлежит и название удельных князей и потому не может быть допущено при изображении периода с XI до XIII века; нельзя согласиться и с тем, чтобы местный князь был ниже удельного, потому что в памятниках местный употребляется вместо удельного, противополагаясь великому; например: «Земля наша и сущих окрест нас братин наших, великих князей дрьжавы и поместных князей и начальников, елико кто под собою имеет, вси суть в благочестии».

Причиною междоусобий Карамзин вполне справедливо полагает спорное право наследства. «Мы уже заметили выше, — говорит он, что, по древнему обычаю, не сын, но брат умершего Государя или старший в роде долженствовал быть его преемником. Мономах, убежденный народом властвовать в столице по кончине Святополка-Михаила, нарушил сей обычай; а как родоначальник Владетелей Черниговских был старее Всеволода I, то они в сыновьях и внуках Мономаховых ненавидели похитителей Великокняжеского достоинства и воевали с ними». Карамзин обратил внимание и на то, что состояние соседних государств помешало им воспользоваться усобицами русских князей; заметил неопределенность в отношениях между властию княжескою и городами; указал духовенства, дружины, на состояние войска, торговли, художеств, наук, нравов. Обо всем этом сказано кратко; многого еще остается желать читателю; но высказанные положения большею частию справедливы. Менее удовлетворительны других относительно дружины. «Каждый город, — говорит Карамзин, — имел особенных ратных людей, Пасынков, или Отроков Боярских

(названных так для отличия от Княжеских), и Гридней, или простых Мечников, означаемых иногда общим именем воинской дружины». Основания, почему пасынков автор считает отроками боярскими, не показаны, и показать их из источников нельзя. Далее, нельзя понять также, почему гридни называются простыми мечниками и что такое будут мечники непростые. Но мы должны заметить также, что вопрос о древней дружине и теперь еще чрезвычайно труден для решения; следовательно, не можем требовать много от первого опыта.

Мы видели, что Карамзин не признал преемства стремлений между Всеволодом III и его потомками; несмотря на то, над Ярославом, самым замечательным из сыновей Всеволода III, произнесен следующий приговор: «Ярослав, в юности жестокий и непримиримый от честолюбия, украшался и важными достоинствами, как мы видели: благоразумием деятельным и бодростию в государственных несчастиях, был возобновителем разрушенного Великаго Княжения». Но, верный своему взгляду, автор не показывает, какая была цель и какие были следствия честолюбия Ярослава, чем это честолюбие разнилось от честолюбия Всеволодова и Андреева.

Не знаем, почему должны мы назвать Ярослава жестоким, если сравнить его поведение с поведением отца и дяди? Если же действительно Ярославу принадлежит честь возобновления разрушенного великого княжения, то это такой подвиг, который должен поставить его наряду величайших государей, особенно если вспомнить, что на это возобновление он мог употребить не более семи лет. Что-нибудь одно: или возобновление не было трудно, то есть разрушение, причиненное татарами, не было очень сильно, или Ярославу история не воздает достойной чести, если не только не дает ему места выше или наравне с Мономахом, Андреем Боголюбским и Всеволодом III, но даже ставит его несравненно ниже их. Вследствие того же взгляда, по которому стремления Боголюбского и брата его не передаются в наследство потомкам, Александр Невский изображается только как добродетельный человек, как государь, заслуживший своими нравственными качествами сильную любовь подданных, без отношения показания его деятельности ДΟ деятельности предшественников: как в Ярославе не виден сын Всеволода III и племянник Боголюбского, так в Невском не виден сын Ярослава и внук Всеволода III. Вот как описывается погребение Св. Александра, после

чего автор переходит к оценке значения этого князя: «Тело Великого Князя уже везли в столицу: несмотря на жестокий зимний холод, Митрополит, Князья, все жители Владимира шли на встречу ко гробу до Боголюбова; не было человека, который бы не плакал и не рыдал; всякому хотелось облобызать мертвого и сказать ему, как живому, чего Россия в нем лишилась. Что может прибавить суд Историка, в похвалу сему простому описанию народной Александра, К основанному на известиях очевидцев? Добрые Россияне включили Невского в лик своих Ангелов-Хранителей и в течение веков приписывали ему, как новому небесному заступнику отечества, разные благоприятные для России случаи: столь потомство верило мнению и чувству современников в рассуждении сего Князя! Имя Святого, ему данное, гораздо выразительнее Великого, ибо Великими называют обыкновенно счастливых; Александр же мог добродетелями своими только облегчить жестокую судьбу России, и подданные, ревностно славя его память, доказали, что народ иногда справедливо ценит достоинства Государей и не всегда полагает их во внешнем блеске Государства. Самые легкомысленные Новгородцы, неохотно уступив Александру некоторые права и вольности, единодушно молили Бога за усопшего Князя, говоря, что "он много потрудился за Новгород и за всю землю Русскую"».

Последние строки, без ведома автора, связывают деятельность Александра Невского с деятельностью его отца и деда и отличают деятельность его от деятельности, например, Мстислава Храброго, который также пользовался сильною народною любовью во всех концах Руси. Александрстремился к изменению новгородского быта точно так же, как стремились к этому его отец и дед, тогда как в Мстиславе мы не видим подобных стремлений.

Вследствие того же основного воззрения автор не допускает связи между деятельностию Ярослава и Василия Ярославичей и деятельностию предшественников их; но всего явственнее выражается этот основной взгляд при изображении усобицы между сыновьями Невского, Димитрием и Андреем. Упразднение старого обычая, по которому великокняжеское достоинство принадлежало старшему в роде, — это упразднение не признается явлением, необходимо ведшим к установлению нового порядка вещей, к утверждению единовластия, вследствие чего не признается важным значение тех лиц, которые

содействовали этому упразднению, каковы были: Михаил Хоробрит и Андрей Александрович Городецкий. О первом Московский вскользь; деятельность второго рассматривается ОТУНКМОПУ независимо от общего хода событий, без отношения к предыдущему и последующему: Андрей является князем, восставшим против старого обычая для удовлетворения своему честолюбию и не разбиравшим средств для этого удовлетворения, называется злобным сыном отца, столь великого и любезного России. Мы заметили уже, что взгляд, по которому нет преемства стремлений между Всеволодом III и потомками его, — этот взгляд историком XIX века наследован от историка XVIII века, есть общий у Карамзина с Щербатовым. Как оба историка сходятся друг с другом при описании событий XIII и начала XIV века, всего яснее видно из отзывов обоих о деятельности великого князя Андрея Александровича: у Щербатова Андрей, «жегомый честолюбием и побуждаемый к оному единым боярином и советником своим Семеном Тонглиевичем, поехал в Орду, где наперед низкими своими поступками и великими дарами у корястолюбивых татарских вельмож вкрался в любовь, и оклеветаньями своими брата своего князя Димитрия им подозрительна сделал». Потом Щербатов приписывает даже преждевременную смерть Андрея непомерному честолюбию.

По смерти Андрея открывается новая усобица точно с таким же характером, как и усобица между Александровичами, причем Тверской князь Михаил соответствует положением своим Димитрию, а Юрий Московский — Андрею, с тою разницею, что Юрий еще менее разборчив в средствах, чем Андрей; следовательно, читатель имеет право ожидать от историка такого же строгого приговора и Юрию, какой произнесен был над Андреем. И действительно, в начале описания борьбы встречаем следующие строки: «Современные Летописцы винят одного Князя Московского, который, в противность древнему обыкновению, спорил с дядею о старейшинстве. Сверх того, Георгий по качествам черной души своей заслуживал всеобщую ненависть и, едва утвердясь на престоле наследственном, гнусным делом изъявил презрение к святейшим законам человечества». Но любопытно, что в конце рассказа приговор этот уже значительно смягчен при описании погребения Юрия: «Князь Иоанн (Калита) и народ проливал искренние слезы, умиленный самый

бедственною кончиною Государя хотя и не добродетельного, однако ж знаменитого умом и славными предками».

До сих пор при рассматривании деятельности каждого князя в отдельности от общего хода событий, определившегося на Севере со времен Андрея Боголюбского, историку было легко произносить свои приговоры; но теперь эта легкость начинает исчезать, когда обнаруживаются важные следствия этих постоянных стремлений, значения которых прежде историк не признавал. Борьба идет с прежним характером, деятели употребляют такие же средства для достижения своей цели; но эта цель становится теперь яснее для историка, и он, с одной стороны, принужденпризнать важность цели, важное значение деятельности лиц, стремившихся к ней; с другой которое нравственному чувству, разбираемого нами писателя, он должен произнести приговор и средствам, употреблявшимся для достижения цели. Мы заметили, что уже относительно характера Юрия Московского наш автор нашелся принужденным смягчить свой прежний приговор: понятно, что эта перемена во взгляде на деятельность князей должна быть еще заметнее при определении деятельности брата Юриева Иоанна Калиты.

Что в его предшественниках являлось бесцельным честолюбием, то теперь называется мудрою политикою: «Благоразумный Иоанн видя, что все бедствия России произошли от несогласия и слабости Князей, — с самого восшествия на престол старался присвоить себе верховную власть над Князьями древних уделов Владимирских и действительно в том успел... Так Московский Боярин и Воевода... уполномоченный Иоанном, жил в Ростове и казался истинным Государем... Самые Владетели Рязанские долженствовали следовать за Иоанном в походах; а Тверь, сетуя на развалинах и сиротствуя без Александра Михайловича, уже не смела помышлять о независимости. Но обстоятельства переменились, как скоро сей Князь возвратился бодрый, деятельный, честолюбивый. Быв некогда сам на престоле Великокняжеском, мог ли он спокойно видеть на оном врага своего? мог ли не думать о чести, снова уверенный в милости Ханской? Владетели Удельные КТОХ повиновались Иоанну, И неудовольствием и рады были взять сторону Тверского Князя, чтобы ослабить страшное для них могущество первого... Боясь утратить первенство, и лестное для властолюбия, и нужное для спокойствия Государства, Иоанн решился низвергнуть опасного совместника».

Таким образом, Иоанн Калита, после Андрея Боголюбского и Всеволода III, является первым князем, который начинает стараться присвоить себе верховную власть над другими князьями; мысль о единовластии является у него вдруг, без приготовления, без связи с предыдущими явлениями. Этот приговор высказывается еще резче в заключение рассказа о княжении Калиты, где говорится, что последний «указал наследникам путь к единовластию и величию». Но, допустив важность цели, хотя со времен Иоанна Калиты, Карамзин, по нравственному чувству, не мог вполне оправдать средств, которыми достигалась: «Справедливо хваля Иоанна государственное благодеяние (указание пути к единовластию), простим ли ему смерть Александра Тверского, хотя она и могла утвердить власть Великокняжескую? Правила нравственности и добродетели святее всех иных и служат основанием истинной Политики. Суд Истории, единственный для Государей — кроме суда Небесного, — не извинит и самого счастливого злодейства: ибо от человека зависит только дело, а следствие — от Бога».

Признание стремлений к единовластию, хотя со времен Иоанна Калиты, было важным шагом вперед у историка XIX века, ибо предшествовавший историк XVIII века, кн. Щербатов, еще не обращает внимания на это значение Калиты и так отзывается о характере последнего: «Что касается до его обычая, он был человек весьма набожный, щедр кбедным. Однако при сих добродетелях не неприступен был к честолюбию, хотя для достижения до своих намерений скрытым образом и великим терпением доходил, что самое было причиною, что, не проникая оных не столь его, как татары, так и российские князья опасались, однако он достиг до того, что низложил с престола князя Александра Михайловича, и осторожности свои противу сего предприимчивого князя толь далеко распростерл, что наконец и причиною смерти его учинился. Что касается до храбрости, мы не видим, чтоб он где ее показал или б и имел случай показать, ибо весьма убегал от войны. Таковый тихий и скромный его нрав был причиною, что он во всю жизнь за главный предмет себе имел исполнить волю татарскую и слепо во всем им повиновался. Но самый блистательных способностях твердости недостаток сей

действительно к пользе России послужил, ибо татары, по сим причинам ничего от него не опасаясь, оставили его спокойно сидеть на великом княжении; и сие во все время его правления продолжавшееся спокойствие дало случай великому княжению владимирскому и московскому от опустошений татарских исправиться и долгое сие правление народ некоим образом приучил к повиновению великому князю и к обязанности к нему и к его потомству, которое по благосклонности татарской, царствуя после князя Иоанна Даниловича, и достигло наконец до освобождения России от ига их».

И при описании важного события, давшего торжество Москве над Тверью, Иоанну над Александром, именно при описании восстания тверичей против Шевкала и татар его, Карамзин проницательнее Щербатова. Последний так рассуждает: «Хан Узбек поражен бесноверием к магометанскому закону, не токмо употреблял все свои силы, дабы оный в татарских и других нехристианских народах ему подвластных утвердить, но также хотел на разорении вместе и правления великих князей и веры христианския его в России распростерть и сего ради послать сего посла (Шевкала)» и проч. Карамзин сомневается в справедливости этого слуха; он говорит: «Бедный народ, уже привыкнув терпеть насилия Татарские, искал облегчения в одних бесполезных жалобах; но содрогнулся от ужаса, слыша, что Шевкал, ревностный чтитель Алкорана, намерен обратить Россиян в Магометанскую Веру, убить Князя Александра с братьями, сесть на его престоле и все города наши раздать своим Вельможам... Сей слух мог быть неоснователен: ибо Шевкал не имел достаточного войска для произведения в действо намерения столь важного и столь несогласного с Политикою Ханов, хотевших всегда покровителями Духовенства и Церкви в набожной России». У Щербатова явление взято отдельно, само по себе, как оно рассказано у летописца; у Карамзина оно уже поверяется рядом других явлений, приводится в связь с общим ходом событий.

Но с другой стороны, мы не должны забывать и тех попыток, которые сделала наука XVIII века для объяснения некоторых любопытнейших явлений внутренней жизни нашего народа, тем более что результаты этих попыток сделались так плодотворны в науке XIX века. Щербатов останавливается на отъезде тверских бояр в Москву и так рассуждает об этом явлении: «Тогда как таковые дела в областях

новгородских происходили, князь Александр пребывал в Твери, где вскоре новые ему огорчения от неудовольствия на его тверских бояр учинились, которые и отъехали от него в Москву к великому князю Иоанну. Летописатели наши нимало не повествуют о причинах сего неудовольствия, и трудно без всяких знаков поступка сего князя, его ли оправдать или бояр обвинить. Тако не в утверждение, но токмо яко догадку нужную для связи деяний и проницания тайных причин дел осмелюсь предложить, что долговременное пребывание князя Александра в Пскове и сказуемая к нему верность от Псковитян, может быть, склонили его и по приезде в Тверь взять многих псковских бояр с собою и правление им препоручить, что, может статься, и огорчило бояр тверских: ибо точно помянуто, что бояре от него отъехали. Самый сей отъезд боярский требует изъяснения, каким образом они могли покинуть своего природного князя и отъехать к другому: хотя в летописцах и не обретается изъяснения о сем, но мню, что с основанием могу приложить к изъяснению сего найденное о нраве бояр в грамоте духовной великого князя Иоанна Даниловича: "А что семь купил село в Ростове Богородичское, а дал семь Бориску-Воркову, аже иметь сыну моему, которому служити, село будет за ним: не иметь ли служити детям моим, село отоимут"».

Здесь, конечно, нужно было основаться на другом, более ясном свидетельстве княжеских договоров; но важна попытка объяснить одно из любопытнейших явлений нашей древней истории и объяснить темные, недоказанные известия летописи другими дополнительными источниками. Карамзин почти слово в слово повторил замечание Щербатова, даже сослался на то же самое место духовного завещания Калиты, не упомянув также о повторяющемся постоянно в княжеских договорах условии, которое еще определеннее указывает на боярские отъезды: «А боярам меж нас и слугам вольным воля». Вот как говорит об этом Карамзин: «В сие время многие Бояре Тверские... переехали в Москву с семействами и слугами; что было тогда не бесчестною изменою, но делом весьма обыкновенным. Произвольно вступая на службу Князя Великого, или Удельного, Боярин всегда мог оставить оную, возвратив ему земли и села, от него полученные. Вероятно, что Александр, быв долгое время вне отчизны, возвратился туда с новыми любимцами, коим старые Вельможи завидовали... Сие могло быть

достаточным побуждением для Тверских бояр искать службы в Москве» и прочее.

Сын Калиты Симеон называется у Карамзина хитрым и благоразумным; но брат его Иоанн, державший после него великое княжение, называется тихим, миролюбивым и слабым, потому что в летописи он назван кротким, тихим и милостивым. Но мы не знаем, вместо третьего прилагательного историк право «милостивый» поставить слабый, тем более что справедливость такого отзыва не видна из дел Иоанновых, как они описаны у летописца. Другое дело — как они описаны у историка: назвав с самого начала Иоанна слабым, историк в каждом его поступке видит признак слабости. Иоанн уклонился от войны с Олегом Рязанским, по словам историка; но должно было прибавить, что с Олегом Рязанским был заключен мир, вовсе не безвыгодный для Москвы, ибо, отдав некоторые волости, Москва приобретала другие; надобно заметить также, что в войне с Олегом Рязанским не всегда был счастлив и сын Иоаннов Димитрий, которого никто не называет слабым. Иоанн, по словам историка, терпеливо сносил ослушание новгородцев в первое время своего княжения; но мы должны заметить, что при войне с Рязанью и во время опустошений, причиненных черною смертью, нельзя было думать о Новгороде.

Представление о слабости Иоанна завело так далеко историка, что он приписал ей волнение в других независимых княжествах, как будто Московский князь имел на них тогда какое-нибудь влияние. Наконец, слабости Иоанновой приписывается происшествие в Москве с тысяцким Алексеем Петровичем; но сам историк говорит, что это происшествие осталось под завесою тайны; следовательно, какой же решительный отзыв мы можем произнести о нем и о действиях великого князя по этому случаю? Одним словом, нет ни одного поступка, из которого бы мы могли заключить о слабости Иоанновой; но есть, наоборот, такие, из которых можем заключить о противном. Князь Щербатов выставил их на вид, хотя также принял во внимание отзыв летописца. «Однако при всем сем являлось, — говорит он, — что он толико мудрости к тихому своему обычаю приобщал, что никогда честолюбие других князей не могло осмелиться спокойство его нарушить, как сие видно по здержанию им честолюбия князя

Константина Суздальского и по недопущению посла татарского поставить границ между Московского и Рязанского Княжений».

Рассказ о княжении Димитрия Константиновича Суздальского Карамзин начинает так: «Избранный Ханом Великий Князь въехал во Владимир, к удовольствию жителей обещая снова возвысить достоинство сей падшей столицы. Он надеялся, как вероятно, перезвать туда и Митрополита; но Алексий, благословив его на Княжение, возвратился в Москву, чтобы исполнить обет Святителя Петра и жить близ его чудотворного гроба». Мы должны заметить, что в источниках не говорится ничего об обещании князя Димитрия Константиновича снова возвысить достоинство Владимира: притом же мы ничего не можем заключить о намерениях и надеждах Димитрия по кратковременности его княжения. Восстание малолетнего Димитрия Московского против Димитрия Суздальского автор приписывает внушениям вдовствующей княгини московской, митрополита Алексия и верных бояр, которые пеклись о благе отечества и государя. Но почему же боярин Андрея Городецкого Семен Тонильевич, внушивший своему князю мысль о восстании против Димитрия Переяславского, не представлен также человеком, заботившимся о благе отечества и государя, а, напротив, представлен злодеем? Это потому, что автор не признает ничего общего между деятельностью предшественников Калиты и деятельностью его потомков и в стремлении последних к собранию земли находит перерыв после смерти Симеона Гордого до вступления на престол Димитрия Иоанновича: «Иоанн Калита и Симеон Гордый начали спасительное дело Единодержавия: Иоанн Иоаннович и Димитрий Суздальский остановили успехи оного и снова дали частным Владетелям надежду быть независимыми от престола Великокняжеского. Надлежало поправить расстроенное сими двумя Князьями и действовать с тем осторожным благоразумием, с тою смелою решительностью, коими немногие Государи славятся в Истории».

Мы видели, что нет основания в Иоанне II видеть князя слабого, расстроившего то, что было сделано его предшественниками. О кратковременном же княжении Димитрия Суздальского мы решительно не можем произнести никакого приговора; мы видим только одно, что Москва была сильнее Суздаля и, следовательно, при Иоанне II не было расстроено то, что было создано при Калите и

Симеоне; видим, что «Провидение», по словам Карамзина, «даровало Димитрию Московскому пестунов и советников мудрых»; но эти мудрые советники были и при Иоанне: если, как выражается Карамзин, они воспитали величие России во время малолетства Димитриева, то они не могли губить это величие при отце последнего, кротком, тихом и милостивом князе.

Отношение деятельности Калиты и Симеона Гордого к деятельности Димитрия Донского определяется так: «Калита и Симеон готовили свободу нашу более умом, нежели силою: настало время обнажить меч. Увидим битвы кровопролитные, горестные для человечества, но благословенные Гением России: ибо гром их пробудил ее спящую славу и народу уничиженному возвратил благородство духа».

Первым делом в княжении Димитрия Иоанновича было вторичное изгнание Димитрия Суздальского из Владимира. Карамзин описывает это событие так: «Юный внук Калиты... выступил с полками, чрез неделю изгнал Димитрия Константиновича из Владимира, осадил его в Суздале и, в доказательство великодушия, позволил ему там властвовать как своему присяжнику». До нас не дошли договоры между обоими Димитриями, и потому мы никак не можем определить, в каких отношениях находился после того Суздальский князь к Московскому: в отношениях ли присяжника или в других каких-либо. Летописец говорит, что Димитрий Московский взял волю свою над Суздальским; но в чем состоит эта воля — мы не знаем; ближе всего заключить, что Суздальский князь отказался навсегда от притязаний на великое княжение Владимирское. В изгнании князей Галицкого и Стародубского из их отчин Карамзин видит ясно оказавшуюся мысль великого князя или умных бояр его мало-помалу искоренить систему уделов. Но, «отнимая Уделы свойственников дальних, — говорит наш автор, — Великий Князь не хотел поступить так с ближними, и Княжение Московское оставалось еще раздробленным». Это сказано по случаю договора, заключенного между Димитрием и двоюродным братом его, Владимиром Андреевичем.

Карамзин не признает нужным сравнить этот договор с договорами предшествовавшими и обратить внимание на особенности его; он говорит, что договор был выгоден для обоих. Любопытно

посмотреть, как переводятся статьи этого важного договора. В подлиннике: «Жити ны потому, как то отцы наши жили с братом своим с старшим, з дядею нашим с Князем с великим с Семеном. А тобе, брату моему молодшему Князю Володимеру, держати ти подо мною княженье мое великое честно и грозно, а добра ти мне хотети во всем: а мне, Князю великому, тобе брата своего держати в братстве, без обиды во всем». В переводе: «Мы клянемся жить подобно нашим родителям; мне, Князю Владимиру, уважать тебя, Великого Князя, как отца, и повиноваться твоей верховной власти; а мне, Димитрию, не обижать тебя и любить, как меньшого брата». Но мы знаем, что в договоре отцов Димитриева и Владимирова с старшим братом Симеоном не было условия: «держать Великое Княжение честно и грозно»; это Карамзин заблагорассудил перевести: «повиноваться твоей верховной власти». Далее в подлиннике: «А которые слуги потягли к дворьскому, а черные люди к сотником, тых ны в службу принимати, но блюсти ни их с одинаго, такоже и численных людей». В переводе: «Людей черных, записанных в Сотни, мы не должны принимать к себе в службу, ни свободных земледельцев, мне и тебе вообще подведомых». Исключив слуг, зависевших от дворского, автор перевел «численных людей» свободными земледельцами и выражение: «мне и тебе вообще подведомых» — отнес только к численным людям. В подлиннике: «А что наши ординци и делюи, а тем знати своя служба, как было при наших отцех», в переводе: «Выходцам Ординским отправлять свою службу, как в старину бывало» — и прибавлено замечание: «Сим именем означались Татары, коим наши Князья дозволяли селиться в Российских городах».

Здесь исключены делюи, касательно же ордынцев из договора великого князя Симеона с братьями видно, что это были пленники, выкупленные из Орды. В подлиннике: «А тобе, брату моему молодшему, мне служити без ослушанья по згадце, како будет мне слично и тобе, брату моему молодшему; а мне тебе кормити по твоей службе. А коли ти будет всести со мною на конь, а кто будет твоих бояр и слуг, где кто ни живет, тем быти под твоим стягом»; в переводе: «Ты, меньший брат, участвуй в моих походах воинских, имея под Княжескими знаменами всех бояр и слуг своих; за что во время службы твоей будешь получать от меня жалованье». Здесь переменен порядок условий; обещание: «а мне тебе кормити по твоей службе» —

никак не может относиться только к походу; выражение: «кормити по твоей службе» — никак не может относиться ко времени службы. В подлиннике: «А коли мы будет где отпущати своих воевод из Великого Княженья, тобе послати своих воевод с моими воеводами вместе без ослушанья; а кто ся ослушает, того ми казнити, а тобе, брату моему, со мною. А кого коли оставити у тебя бояр, про то ти мене доложити, то ны учините по згадце; кому будет слично ся остати, тому остатися, кому ехати, тому ехати». Это важное условие совершенно исключено в переводе.

За договором между двоюродными братьями следует описание смут нижегородских, в которых великий князь Московский принимал деятельное участие. Вот как рассказывает об этом летописец: во время страшного морового поветрия умер великий князь Нижегородский Андрей Константинович, старший брат Димитрия Константиновича Суздальского. Последний хотел занять Нижний; но здесь уже засел третий, самый младший брат Борис Константинович, который и не пустил старшего в Нижний. В это самое время сын Димитриев Василий вынес из Орды отцу в третий раз ярлык на великое княжение Владимирское; но Димитрий, испытав уже два раза силу Москвы, предпочел теперь отказаться от ярлыка в пользу Димитрия Московского, с тем чтобы последний помог ему за это овладеть Нижним: «Князь Димитрий Константинович приде в Новгород Нижний, и не поступися ему княжения новгородского брат его меньший, князь Борис Константинович. Того же лета приде из Орды князь Василий Кирдяпа Суздальский, сын Димитриев, и вынесе ярлыки на Княжение Великое Владимирское князю Димитрию Константиновичу Суздальскому; он же не восхоте и оступися великого княжения володимерского Великому Князю Дмитрею Ивановичю Московскому, а испросил у него силу к Новугороду к Нижнему на своего меньшого брата, на князя Бориса Константиновича».

Карамзин в своем рассказе поставил вынесение ярлыков и отказ Димитрия Константиновича принять их прежде смерти князя Андрея Константиновича и спора между его братьями, Димитрием и Борисом, отделил, следовательно, отказ Димитрия Константиновича принять ярлык от просьбы его к Димитрию Московскому о присылке войска на помощь: «Между тем в Сарае один Хан сменял другого, преемник Мурутов, Азис, думал также низвергнуть Калитина внука, и Димитрий

Константинович снова получил Ханскую грамоту на Великое Княженье, привезенную к нему из Орды весною сыном его, Василием... но сей Князь, видя слабость свою, дал знать Димитрию Московскому, что он предпочитает его дружбу милости Азиса и навеки отказывается от достоинства Великокняжеского. Умеренность, вынужденная обстоятельствами, не есть добродетель; однако же Димитрий Иоаннович изъявил ему за то благодарность. Андрей Константинович преставился в Нижнем: желая наследовать сию область и сведав, что она уже занята меньшим братом его, Борисом, Князь Суздальский прибегнул к Московскому» и проч.

Под 1364 годом в летописи помещено известие о большом пожаре в Москве; под 1367-м — известие о заложении каменного Кремля, причем летописец как хочет будто соединить намерение великого князя укрепить свой город каменными стенами с намерением усилиться на счет других князей: «Князь великий Дмитрий Иванович заложа град Москву камену и начаша делати безпрестанно и всех князей русских привожаше под свою волю». Карамзин, описав большой пожар, продолжает: «Видя, сколь деревянные укрепления ненадежны, Великий Князь в общем совете с братом, Владимиром Андреевичем, и с Боярами решился построить каменный Кремль и заложить его весною в 1367 году. Надлежало, не упуская времени, брать меры для безопасности отечества и столицы, когда Россия уже явно действовала против своих тиранов (татар): могли ли они добровольно отказаться от господства над нею и простить ей великодушную смелость?»

Эти слова составляют переход к известию о победах князей Рязанского и Нижегородского над двумя татарскими мурзами. Описав эту победу, автор продолжает: «Сии ратные действия предвещали важнейшия. Великий Князь, готовясь к решительной борьбе с Ордою многоглавою, старался утвердить порядок внутри отечества. Своевольство Новгородцев возбудило его негодование» и проч. Здесь также ясно можно видеть, как обыкновенно Карамзин соединяет события, следующие в летописи одно за другим в хронологическом порядке: известие о пожаре соединяется с известием о построении каменной крепости, как причина с следствием; но немедленно тут же для построения каменного Кремля отыскивается другая причина, потому что это событие необходимо связать с победами Рязанского и

Нижегородского над татарами, победами, которые не находились ни в какой связи с московскими событиями по отдельности Рязани и Нижнего от Москвы. Но эти победы представляются приготовлением Московского великого князя к решительной борьбе с Ордою, потому что нужно было сделать переход от борьбы Рязани и Нижнего с татарами к делам московским, а так как эти дела касались Новгорода, то понадобилось сказать, что Димитрий Иоаннович потому хотел унять новгородских разбойников, что старался утвердить порядок внутри отечества, готовясь к решительной борьбе с Ордою...

внутри отечества, готовясь к решительной борьбе с Ордою...
За рассказом об отношениях Москвы к Новгороду следует рассказ о событиях тверских, который начинается так: «Самая язва не прекратила междоусобия Тверских Князей». Надобно заметить, что язва именно была причиною междоусобий, потому что споры возникли за отчины князей, умерших от язвы. Москва приняла деятельное участие в тверских усобицах; самый деятельный из тверских князей, Михаил Александрович, был зазван в Москву под предлогом дружеских соглашений и задержан здесь. В начале рассказа об этом событии Карамзин говорит: «Прозорливые советники Димитриевы, боясь замыслов Михаила — который назвался Великим Князем Тверским и хотел восстановить независимость своей области, — употребили хитрость». В конце рассказа он отзывается о поступке московских бояр так: «Обман, не достойный Правителей мудрых!»

Здесь должно заметить, что титул великого князя, употребленный Михаилом Тверским, никак не мог возбудить подозрительности в Москве, потому что такой титул употребляли князья Смоленский, Нижегородский, Рязанский, Пронский и никогда Московские князья не оспаривали его у них. Мы не можем умолчать также о любопытном изложении побуждений, заставлявших ехать в Москву: «Михаил желал видеть столицу Димитрия (уже славную тогда в России), узнать его лично, беседовать с благоразумными Вельможами Московскими». Что касается описания всех этих событий у предшествовавшего историка, князя Щербатова, то у него нет таких переходов между событиями, какие употребляются Карамзиным, и чрез это во многих случаях сохраняется большая верность источникам; но зато у Карамзина мы не встречаем тех странностей, которые попадаются у Щербатова. Примером таких странностей может служить рассуждение Щербатова

о построении каменного Кремля — рассуждение, начавшееся довольно благовидно: «Великий князь Димитрий, не упуская ни единого случая к утверждению своея власти и к усиливанию России, пользуясь, с одной стороны, несогласиями ханов татарских, а с другой — покоем России и подобострастием к нему всех князей, предприял град Москву каменными стенами оградить, чтоб чрез сие учинить ее в состоянии сопротивляться нападениям и толико удержать врагов, чтоб он мог силы собрать; ибо в такое время, в которое искусство осаждать и брать града можно сказать почти не знаемо было, укрепленный град мог удержать сильнейшее время воинство долгое великим подкреплением быть тому, кому он принадлежал. Сих ради причин великий князь, соглашася с братом своим Владимиром Андреевичем, начали строение сея каменные ограды, которую мню быть прежде построенную, где ныне стена, называемая Китай, может статься, что и самое имя сие было стене сей дано в изъявление подданства ханам татарским, коих единое колено действительно тогда владело Китаем».

Щербатов везде считает своею непременною обязанностью объяснять причины явления, во что бы ни стало. У Димитрия Московского началась война с Олегом Рязанским; летописцы причин войны не объявляют. Щербатов говорит: «Видим по грамотам великих князей, что прежде толь твердый союз между великим князем и сим Олегом был, что он и во всегдашние посредники в случающихся несогласиях между князем тверским и в. князем Димитрием Иоанновичем избран был; что же помутило сию дружбу и добрую поверенность? За недостатком известий принуждены здесь сие догадками пополнить: не самое ли сие посредство и было причиною сего несогласия, когда Олег в случающихся по сему делах пристрастие свое к князю тверскому показывал».

Щербатов приводит свое объяснение как догадку; Карамзин поступает решительнее; он говорит: «Явился новый неприятель, который хотя и не думал свергнуть Димитрия с престола Владимирского, однако ж всеми силами противоборствовал его системе Единовластия, ненавистной для Удельных Князей: то был смелый Олег Рязанский, который еще в государствование Иоанна Иоанновича показал себя врагом Москвы. Озабоченный иными делами, Димитрий таил свое намерение унизить гордость сего Князя и жил с ним мирно: мы видели, что Рязанцы ходили помогать Москве,

теснимой Ольгердом. Не опасаясь уже ни Литвы, ни Татар, Великий Князь скоро нашел причину объявить войну Олегу, неуступчивому соседу, всегда готовому спорить о неясных границах между их владениями». Итак, причиною войны объявлена неуступчивость Олега в пограничных спорах, причем сказано еще, что Олег противоборствовал системе единовластия, хотя этому противоборству противоречит помощь, оказанная рязанцами Москве. О гордости Олега мы ничего не знаем; о пограничных спорах также; заметим еще, что если система единовластия была ненавистна для удельных князей, то она не могла быть ненавистна для Олега, потому что он никогда не был удельным князем, но был великим, независимым от Московского.

Всюду заметны следы этого воззрения, по которому один только Владимирско-Московский князь был великим, а все другие, и Рязанский, и Нижегородский, и Тверской, — его удельными, ему подчиненными. Так, при описании гибели татарского посла в Нижнем автор говорит: «Вопреки, может быть, слову, данному Ханом, Послы Мамаевы, приехав в Нижний с воинскою дружиною, нагло оскорбили тамошнего Князя Димитрия Константиновича и граждан: сей Князь, исполняя, как вероятно, предписание Московского, велел или дозволил народу умертвить Послов... Неизвестно, старался ли Димитрий Константинович, или Великий Князь, оправдать сие дело пред судилищем Ханским; по крайней мере гордый Мамай не стерпел такой войско явной дерзости И послал опустошить пределы Нижегородские... Сия месть не могла удовлетворить гневу Мамаеву: он клялся погубить Димитрия, и Российские мятежники взялись ему в том споспешествовать».

Так как Нижегородский князь не зависел от Московского, то нет никакой вероятности, чтобы он исполнил предписание последнего; в источниках нет ни малейшего намека на то, чтобы Мамай клялся погубить Димитрия Московского за нижегородское дело; из них ясно видно только, что враждебные отношения между Мамаем и великим князем Московским начинаются не прежде того времени, как Иван Вельяминов и Некомат вооружили хана против Димитрия в пользу Михаила Тверского. По поводу Ивана Вельяминова автор говорит: «Мы упоминали о знаменитости Московских чиновников, называемых Тысячскими, которые, подобно Князьям, имели особенную благородную дружину и были, кажется, избираемы гражданами,

согласно с древним обычаем, чтоб предводительствовать их людьми военными».

Чтобы тысяцкие избирались гражданами и имели особенную благородную дружину, на это нет указаний в источниках; в Новгороде тысяцкий действительно избирался вместе с посадником, но это явление принадлежит к особенностям новгородского быта; касательно других городов есть ясные свидетельства, ЧТО назначались князьями — говорится, что такой-то князь дал тысячу такому-то из своих приближенных, сказал ему: «Ты держи тысячу». Что касается дружины тысяцкого, то автор ссылается на одиннадцатую главу IV тома своей «Истории», где действительно опять читаем, что тысяцкий был окружен благородною, многочисленною дружиною; но опять не видим основания такому утверждению; если в летописи сказано, что тысяцкий Алексей Петрович Хвост пострадал от своей употреблено, дружина здесь слово дружины, TO употребляется в смысле свои, товарищи, своя братья, то есть бояре, ибо сейчас же говорится, что в гибели Алексея Петровича подозревались большие бояре Михаил и зять его Василий Васильевич (Вельяминов), которые уже никак не могли быть в дружине тысяцкого.

Неприязнь между Мамаем и великим князем разгорелась; царевич Арапша напал на русские пределы и разбил соединенные войска московское и нижегородское вследствие оплошности воевод и воинов; эта оплошность в летописи изображается так: «Они же оплошишася и небреженьем хожаху; доспехи своя вскладоша на телеги, а оны в сумы, а у иных сулицы еще не насажены бяху, а щиты и копья не приготовлены, а ездять порты своя с плеч спускав, а петли растегав: бяше бо им варно, а где наехаху в зажитьи мед или пиво испиваху». У Карамзина: «Утомленные зноем, сняли с себе латы и нагрузили ими телеги; спустив одежду с плеч, искали прохлады, другие рассеялись по окрестным селениям, чтоб пить крепкий мед или пиво. Знамена стояли уединенно, копья, щиты лежали грудами на траве».

Это только картина; важнее для нас отношение рассказа историка к рассказу летописца в известии о церковных делах, вставленных между делами ордынскими и литовскими. В летописи: «Алексий же митрополит, умолен быв и принужен, не посули быти прошенья его, но извествуя святительски, паче же пророчески, рече: азъ не доволен благословити его (Митяя), но оже дасть ему Бог и Св. Богородица и

патриарх и Вселенский собор»; в других летописях: «Алексей же глагола: изневолен есмь благословить его; но ему же дастъ Господь Бог и Пречистая Богородица, и просвещенный патриарх и Вселенский собор того и азъ благословляю». У Карамзина: «Алексей благословил Митяя как своего Наместника, прибавив: "если Бог, Патриарх и Вселенский собор удостоят его править Российскою Церковью"». Далее автор говорит: «Он (Митяй) медленно готовился к путешествию в Царьград, желая, чтобы Димитрий велел прежде Святителям Российским поставить его в Епископы». Для подтверждения своих слов он приводит место из Троицкой летописи: «Но и еще дотоле, прежде даже не пойде к Царюграду, всхоте без Митрополита поставитися в Епископы» — и в скобках замечает: «а не в Митрополиты, как у Князя Щербатова и Штриттера». Но Щербатов и Стриттер опирались на свидетельство другого летописца, находящееся в Никоновом списке: «И восхоте (Митяй) ити в Царьград к патриарху на поставление и паки на ину мысль преложись, и нача беседовати к великому князю, глагола: писано есть в апостольских правилах сице: два или три епископа да поставляют единаго епископа, тако же и в отеческих правилах писано есть, и ныне убо да снидутся епискупи рустии пять или шесть да мя поставят епископа и первосвятителя». Далее в летописи о путешествии Митяя: «Та же приидоша в орду в место половецкое и в пределы татарская, и приходящим им орду и тамо ят бысть Митяй со всеми сущими его Мамаем, и немного удержа его Мамай у себя, и паки отпусти его с миром и с тихостью, еще же и приводити его повеле». У Карамзина: «За пределами Рязанскими, в степях Половецких, Митяй был остановленТатарами и не испугался, зная уважение их к сану духовному. Приведенный к Мамаю, он умел хитрою лестию снискать его благоволение».

После изложения дел церковных автор снова обращается к ордынским отношениям, к описанию Куликовской битвы. Это описание очень важно в истории русской исторической критики по характеру источников, из которых почерпаются сведения о событии; эти источники состоят из разного рода более или менее украшенных сказаний, которые должны быть очищены внимательною критикою. Предшествовавшие Карамзину писатели — князь Щербатов, Стриттер — пользовались без критической очистки самым подробным сказанием, какое только могли иметь: не так поступил Карамзин; вот

что говорит он об источниках описания Куликовской битвы: «Мы имеем два описания сей войны: одно действительно историческое и современное, находящееся в Ростовской и других достоверных летописях, а другое, напечатанное с разными отменами в Киевском Синопсисе и в Никоновской Летописи, баснословное и сочиненное, может быть, в исходе XV века Рязанцем, Иереем Софронием, как то именно означено в одном списке его, хранящемся в библиотеке Графа Ф. А. Толстого... Не говоря о сказочном слоге, заметим явную ложь в сей второй повести. Там сказано, что Димитрий, готовясь к походу, Киприаном-Митрополитом; Москве c советовался прикладывался к образу Св. Богоматери, написанному Евангелистом Лукою, и что в Донском сражении убито восемь или даже пятнадцать Князей Белозерских; но Киприана еще не было тогда в Москве; образа, написанного Лукою, — также; и Князь Федор Романович Белозерский, убитый на Дону вместе с сыном, не имел иных родственников, кроме брата, именем Василия, коего сыновья сделались уже гораздо после родоначальниками князей Андомских, Кемских, Белосельских и других. Историки Кн. Щербатов и Штриттер повторили сию сказку. Следуя во всем Ростовскому Летописцу, мы, впрочем, не отвергаем некоторых обстоятельств вероятных и сбыточных, в ней находящихся: преданиями думаем, Автор что ибо ee МΟΓ пользоваться современников».

При описании Куликовской битвы также любопытно для нас изображение характера и поведения Олега Рязанского, ибо это изображение показывает нам, в какой степени автор мог предаваться сочувствию источникам, которыми пользовался. В украшенных сказаниях о Куликовской битве сколько превозносится Димитрий, столько же порицается Олег Рязанский, который называется «велеречивым и худым, не сохранившим своего христианства, льстивым сотоньщиком, поборником бесерменским» и т. п. У Карамзина Олег представлен соответственно этому отзыву: «К сим двум главным утеснителям и врагам нашего отечества (Мамаю и Ягайлу) присоединился внутренний изменник, менее опасный зловреднейший коварством: Олег Рязанский, могуществом, но воспитанный в ненависти к Московским Князьям, жестокосердый в юности и зрелым умом мужеских лет наученный лукавству. Испытав в поле превосходную силу Димитрия, он начал искать его благоволения;

будучи хитр, умен, велеречив, сделался ему другом, советником в общих делах государственных и посредником... в гражданских делах Великого Княжения с Тверским. Думая, что грозное ополчение Мамаево, усиленное Ягайловым, должно необходимо сокрушить Россию — страшася быть первою жертвою оного и надеясь хитрым предательством не только спасти свое Княжество, но и распространить его владения падением Московского, Олег вошел в переговоры с Моголами и с Литвою». Князь Щербатов не говорит о характере Олега; он приводит только следующие причины поступка Рязанского князя: «Олег, князь рязанский, предвидя, что первое устремление татар будет на его области, а притом завидуя власти великого князя московского и негодуя на него за отнятие у него Коломны, вознамерился, совокупясь с татарами, воевать против великого князя Димитрия Иоанновича. Они (Олег и Ягайло) весьма в том уверены были, что великий князь Димитрий не осмелится ожидать пришествия Мамаева, но как скоро услышит о приближении его, то, оставя свои области, в отдаленные страны уйдет и оставит владимирского и московского великих княжений престолы праздны; и тако надеялись оставленные княжения между собою разделить».

После Куликовской битвы об отношениях Московского великого князя к Рязанскому мы знаем из летописей, что Олег бежал в Литву и что Димитрий послал своих наместников управлять Рязанью; но до нас дошел от описываемого времени договор, заключенный между Димитрием и Олегом; следовательно, мы должны заключить, что Олег скоро успел опять утвердиться в своей отчине; как это произошло источники ничего не говорят. Верный своему взгляду на характеры обоих соперников, Димитрия и Олега, историк так объясняет это явление: «Хитрый Олег, быв несколько месяцев изгнанником, умел тронуть его (Димитриеву) чувствительность знаками раскаяния и возвратился на престол... Великодушие действует только на великодушных: суровый Олег обиды, ПОМНИТЬ МОГ не благотворения...»

Любопытно рассуждение автора о значении Куликовской битвы, тем более что князь Щербатов ничего не говорит о нем. Перенесясь воображением за четыреста с лишком лет, историк так описывает мысли и чувства предков: «Известие о победе столь решительной произвело восхищение неописанное. Казалось, что независимость,

слава и благоденствие нашего отечества утверждены ею навеки; что Орда пала и не восстанет; что кровь Христиан, обагрившая берега Дона, была последнею жертвою для России и совершенно умилостивила Небо. Все поздравляли друг друга, радуясь, что дожили до времен столь счастливых... и ставя Мамаево побоище выше Алтского и Невского. Увидим, что оно, к сожалению, не имело тех важных, прямых следствий, каких Димитрий и народ его ожидали; но считалось знаменитейшим в преданиях нашей Истории до самых времен Петра Великого или до битвы Полтавской: еще не прекратило бедствий России, но доказало возрождение сил ее и в несомнительной связи действия с причинами отдаленными служило основанием успехов Иоанна III, коему судьба назначила совершить дело предков, менее счастливых, но равно великих».

Автор счел также нужным объяснить, почему Димитрий не хотел воспользоваться победою, гнать Мамая до берегов Ахтубы и разрушить Сарай. обвинять Великого «Не будем Князя оплошности, — говорит он. — Татары бежали, однако же все еще сильные числом и могли в Волжских Улусах собрать полки новые; надлежало идти вслед за ними с войском многолюдным: каким образом продовольствовать оное в степях и пустынях? Народу кочующему нужна только паства для скота его, а Россияне долженствовали бы везти хлеб с собою, видя впереди глубокую осень и зиму, имея лошадей, не приученных питаться одною иссохшею травою. Множество раненых требовало призрения, и победители чувствовали нужду в отдохновении. Думая, что Мамай никогда уже не дерзнет восстать на Россию, Димитрий не хотел без крайней Государства необходимости подвергать судьбу дальнейшим опасностям войны и, в надежде заслужить счастие умеренностью, возвратился в столицу». Здесь мы не видим той причины, приводимой летописцами, которые говорят, что после Куликовской битвы была на Руси радость великая, но была и печаль большая по убитым от Мамая на Дону; оскудела совершенно вся Земля русская воеводами, и слугами, и всяким воинством, и от этого был страх большой по всей Земле русской...

Об отношениях Москвы и Рязани в последнее время княжения Димитрия Донского в летописях рассказано так: «Князь Олег Рязанский суровейший, взя Коломну, пришел изгоном. Того же лета

(1384) князь великий Димитрий Иванович, собрав воинства многа отовсюду и посла ратью брата своего из двоюродных князя Валодимера Андреевича на великого князя Олега Рязанского и на всю землю его, и тогда на том бою убиша бояр многих московских и лучших мужей новогородских (Нижнего Новогорода) и переславских. Убиша ж тогда и крепкого воеводу великого князя Димитрия Ивановича князя Михаила Андреевича Полотцкого, внука Олгердова. Князь великий Дмитрий Иванович иде в монастырь в Живоначальной Троице и глаголаше с молением преподобному игумену Сергию, дабы шел от него сам преподобный игумен Сергий посольством на Рязань ко князю Олегу о вечном мире и о любви». Щербатов, приведя известие летописца о битве между москвичами и рязанцами, говорит: «Впрочем, не обретаем, какой был конец сего боя, однако потому, что более о происхождениях сего похода не поминается, можем заключить, что означенный бой неудачен был московским войскам». Рассказ Карамзина: «Димитрий надеялся вместе с народом, что сие рабство (татарское) будет не долговременно; что падение мятежной Орды неминуемо и что он воспользуется первым случаем освободить себя от ее тиранства. Для того Великий Князь хотел мира и благоустройства внутри отечества; не мстил Князю Тверскому за его вражду и предлагал свою дружбу самому вероломному Олегу. Сей последний неожидаемо разграбил Коломну... Димитрий послал туда войско под начальством Князя Владимира Андреевича, но желал усовестить Олега, зная, что сей Князь любим Рязанцами и мог быть своим умом полезен отечеству. Муж, знаменитый святостию, Игумен Сергий, взял на себя дело миротворца».

При описании ссоры между Димитрием Донским и двоюродным братом его Владимиром Андреевичем Карамзин приводит договор, заключенный между ними, и при этом замечает: «Сия грамота наиболее достопамятна тем, что она утверждает новый порядок наследства в Великокняжеском достоинстве, отменяя древний, по коему племянники долженствовали уступать оное дяде. Владимир именно признает Василия и братьев его, в случае Димитриевой смерти, законными наследниками Великого Княжения». Щербатов даже не упоминает об этой достопамятной грамоте.

При изображении характера Димитрия Донского Карамзин следует похвальному слову, которое осталось нам от того времени; но,

приведя слова панегирика, Карамзин замечает: «Таким образом Летописцы изображают нам добрые свойства сего Князя; и, славя его, как первого победителя Татар, не ставят ему в вину, что он дал Тохтамышу разорить Великое Княжение, не успел собрать войска сильного и тем продлил рабство отечества до времен своего правнука. Димитрий сделал, кажется, и другую ошибку: имев случай присоединить Рязань и Тверь к Москве, не воспользовался оным: желая ли изъявить великодушное бескорыстие?.. Может быть, он не хотел изгнанием Михаила Тверского, шурина Ольгердова, раздражить Литвы и думал, что Олег, хитрый, деятельный, любимый подданными, лучше Московских Наместников сохранит безопасность восточных пределов России, если искренно с ним примирится для блага отечества». Мы видели рассказ летописей об окончании войны между Москвою и Рязанью; притом Карамзин уже объяснил раз поведение Димитрия относительно Твери и Рязани, говоря, что Димитрий ждал случая освободить себя от тиранства татар, а потом хотел мира внутри отечества, не мстил князю Тверскому и предлагал дружбу Олегу.

Заметив в договорной грамоте Димитрия Донского с двоюродным братом его Владимиром Андреевичем важную новость, что дядя отказался от старшинства в пользу племянника, Карамзин не упоминает о столь же важной новости в завещании Димитрия Донского, который впервые благословляет сына своего Василия Великим Княжением Владимирским и называет это княжение своею отчиною; но о начале княжения Василия Димитриевича Карамзин «Димитрий говорит: оставил Россию, готовую противоборствовать насилию Ханов: юный сын его, Василий, отложил до времени мысль о независимостии был возведен на престол во Владимире Послом Царским, Шахматом. Таким образом достоинство Великокняжеское сделалось наследием Владетелей Московских. Уже никто не спорил с ними о сей чести». Характер правления Василия Димитриевича автор выводит из того обстоятельства, что вначале по молодости своей великий князь мог править только с помощию бояр. «Окруженный усердными Боярами и сподвижниками Донского, он (Василий) заимствовал от них сию осторожность государственных, которая ознаменовала его тридцатишестилетнее княжение и которая бывает свойством Аристократии, движимой более

заботливыми предвидениями ума, нежели смелыми внушениями великодушия, равно удаленной от слабости и пылких страстей». Надобно заметить, что и княжение отца Василиева, Димитрия, началось при тех же самых обстоятельствах; следовательно, чтобы определить характер княжения Василиева, должно было определить и характер княжения Димитриева.

В начале княжения Василия находим известие о ссоре его с дядею, Владимиром Андреевичем. В летописях не приведена причина ссоры; историк объясняет это явление так: «Опасаясь прав дяди Василиева, Князя Владимира Андреевича, основанных на старейшинстве и на славе воинских подвигов, господствующие Бояре стеснили, кажется, его власть и не хотели дать ему надлежащего участия в правлении: Владимир, ни в чем не нарушив договора, заключенного с Донским, — быв всегда ревностным стражем отечества и довольный жребием Князя второстепенного — оскорбился неблагодарностию племянника и со всеми ближними уехал в Серпухов, свой удельный город, а из Серпухова в Торжок».

Должно заметить, что если Владимир Андреевич не нарушал договора, был доволен своим жребием, то он не мог обнаруживать притязаний на права, основанные на старшинстве, от которого он отказался по договору; нарушил ли Серпуховский князь договор свой или нет — неизвестно, следовательно, нет права обвинять его в этом нарушении. С другой стороны, по той же самой причине, то есть по молчанию источников, нет права обвинять и бояр московских. Известно только то, что великий князь, мирясь с дядею, должен был дать ему две волости — обстоятельство, могущее вести к заключению, что дядя не был доволен своим жребием. Договор, заключенный между Василием И Владимиром, замечателен сильной недоверчивости, выраженной дядею и племянником друг к другу. Князь Щербатов заметил эту особенность.

При описании борьбы великого князя Василия Димитриевича с князьями Суздальско-Нижегородскими Карамзин говорит об одном из последних, Симеоне, что великий князь позволил избрать ему убежище в России и Симеон добровольно удалился в независимую область Вятскую. Это мнение о независимости Вятки господствовало До последнего времени вопреки ясным свидетельствам источников о противном: потомки князей Суздальских-Нижегородских в договоре с

Димитрием Шемякою называют Вятку прадединою, дединою и отчиною своею наравне с Суздалем, Нижним и Городцом. Великий князь Василий Димитриевич, овладев тремя последними городами, овладел вместе и Вяткою, которую отдал брату своему Юрию Димитриевичу, а тот завещал ее своим сыновьям. После описания борьбы Василия с князьями Нижегородскими и Новгородом Великим автор обращается к делам восточным — к нашествию Тамерланову. Известно, что это нашествие ограничилось взятием Ельца; несмотря на то, рассказ о Тамерлане занимает у Карамзина несколько страниц, потому что подробно описываются предшествовавшие его завоевания и образ жизни. Такая долговременная остановка над Тамерланом объясняется тем, что его блистательные, поражающие воображение подвиги были для автора оазисом среди пустыни, и он не преминул воспользоваться ими, чтобы оживить однообразное повествование о событиях, мало говорящих воображению.

О великом князе Василии Димитриевиче автор произнес следующий приговор: «Василий Димитриевич преставился на 53 году от рождения, княжив 36 лет, с именем Властителя благоразумного, не имев любезных свойств отца своего, добросердечия, мягкости во нраве, ни пылкого воинского мужества, ни великодушия геройского, но украшенный многими государственными достоинствами, чтимый Князьями, народом, уважаемый друзьями и неприятелями». Это различие между характером отца и сына основывается на том, что до нас дошло похвальное слово Донскому и не дошло подобного же сочинения, написанного в честь сына его. Что же касается до характера сына Василия Димитриевича Василия Васильевича Темного, то на первых строках рассказа о его княжении находим приговор, которому автор остается верен во все продолжение рассказа: «Новый Великий Князь имел не более десяти лет от рождения. Подобно отцу и деду в начале их государствования, он зависел от Совета Боярского, но не мог равняться с ними ни в счастии, ни в душевных способностях».

Известно, с какими затруднениями соединен был в описываемое время сбор войска: от этого проистекало то явление, что, когда неприятель подступал внезапно, великие князья не имели средств отразить его, покидали столицу и уезжали в северные области для сбора полков: так поступили Димитрий Донской при нашествии Тохтамыша, Василий Димитриевич при нашествии Едигея. Но в обоих

этих случаях неприятель подходил с юга, и потому великим князьям была возможность удалиться в северные области; но когда неприятель являлся с севера, то куда было удалиться? Так именно случилось в княжение Василия Васильевича, когда дядя его Юрий напал врасплох с севера: великий князь принужден был выйти к нему навстречу с нестройною толпою, какую только мог собрать, и, разумеется, не мог с нею держаться против заранее собранного войска Юриева, бежал на северо-запад, в чужую область Тверскую, оттуда в Кострому, и здесь должен был отдаться в руки дяде, который уже владел всем великим княжеством.

Автор описывает это событие так: «Юный Василий Васильевич ничего не ведал до самого того времени, как Наместник Ростовский прискакал к нему с известием, что Юрий в Переславле. Уже Совет Великокняжеский не походил на Совет Донского или сына его: беспечность и малодушие господствовали в оном. Вместо войска отправили Посольство на встречу к Галицкому Князю с ласковыми словами» и проч. Здесь мы должны для сравнения привести слова того же автора при описании поведения Димитрия Донского и советников его во время Тохтамышева нашествия: этим описанием поведение великого князя Василия и его совета вполне оправдается: «Одни увеличивали силу Тохтамышеву; иные говорили, что от важного урона, претерпенного Россиянами в битве Донской, столь кровопролитной, хотя и счастливой, города оскудели людьми военными; наконец, советники Димитриевы только спорили о лучших мерах для спасения отечества, и Великий Князь, потеряв бодрость духа, вздумал, что лучше обороняться в крепостях, нежели искать гибели в поле. Он удалился в Кострому» и проч. За проигранную битву в 1434 году Василий называется слабодушным; но вот описание битвы того же Василия с двоюродным братом его Василием Косым: «Готовились к битве; но Косой, считая обман дозволенною хитростию, требовал перемирия. Неосторожный Василий заключил оное и распустил воинов для собирания съестных припасов. Вдруг сделалась тревога: полки Вятские во всю прыть устремились к Московскому стану, в надежде пленить Великого Князя, оставленного ратниками. Тут Василий оказал смелую решительность: уведомленный о быстром движении неприятеля, схватил трубу воинскую и, подав голос своим, не тронулся с места. В несколько минут стан наполнился людьми;

неприятель вместо оплошности, вместо изумления увидел пред собою блеск оружия и стройные ряды воинов, которые одним ударом смяли его, погнали, рассеяли». Эта битва, о которой, к счастию, дошли до нас подробности, ясно показывает, что неуспех других битв нисколько не зависел от личности Василия, который отличался не слабодушием, а, напротив, храбростию в битвах. Несмотря на то, когда потом Василий, застигнутый врасплох татарами и не имея войска, удалился из Москвы за Волгу, по примеру отца и деда, автор говорит: «Махмет с легким войском явился под стенами Москвы, откуда Василий, боязливый, малодушный, бежал за Волгу».

В другой раз, в 1445 году, Василий, надеясь на возможность собрать сильные полки, вышел против татар, но был обманут другими князьями; несмотря на то, схватился с вдвое многочисленным неприятелем, опять показал необыкновенное личное мужество и, однако, был подавлен силами врагов, взят в плен. Автор описывает это событие правильно: «Неприятель опаснейший явился с другой стороны. Царь Казанский, Улу-Махмет, взял Старый Новгород Нижний... и шел к Мурому. Великий Князь собрал войско: Шемяка, Иоанн Андреевич Можайский, брат его Михаил Верейский и Василий Ярославич Боровский... находились под Московскими знаменами. Махмет отступил: передовой отряд наш разбил Татар... Не желая во время тогдашних зимних холодов гнаться за Царем, Великий Князь возвратился в столицу. Весною пришла весть, что Махмет осадил Нижний Новгород, послал двух сыновей, Мамутека и Ягуба, к Суздалю. Уже полки были распущены: надлежало вновь собрать их. Василий Васильевич с одною Московскою ратию пришел в Юрьев... Чрез несколько дней присоединились к Москвитянам Князья Можайский, Верейский и Боровский, но с малым числом ратников. Шемяка обманул Василия: сам не поехал и не дал ему ни одного воина; а Царевич Бердата, друг и слуга Россиян, еще оставался назади. Великий Князь расположился станом близ Суздаля... Сделалась общая тревога, Великий Князь, схватив оружие, выскочил из шатра и, в несколько минут устроив рать, бодро повел оную вперед... Сражались толпы с толпами, воин с воином долго, упорно; везде число одолело, и Россияне, положив на месте 500 моголов, были истреблены. Сам Великий Князь, личным мужеством заслужив похвалу — имея

простреленную руку, несколько пальцев отсеченных, тринадцать язв на голове, плеча и грудь синие от ударов, — отдался в плен».

В этот правильный рассказ, из которого так ясно видны причины неудачи, нисколько не зависевшие от Василия, — в этот рассказ автор не преминул вставить ему укоризну: говоря о малочисленности войска, он прибавляет: «Силы Государства Московского не уменьшились: только Василий не умел подражать деду и словом творить многочисленные воинства». Далее автор говорит: «Несмотря на пороки или недостатки Василия, Россияне Великого Княжения видели в нем единственного законного Властителя и хотели быть ему верными»; а чрез несколько страниц читаем: «Москвитяне... усердно молили Небо избавить их от Властителя недостойного (Шемяки): воспоминали добрые качества слепца (Василия), его ревность в Правоверии, суд без лицеприятия, милость к Князьям Удельным, к народу, к самому Шемяке».

Автор не мог не упомянуть также о важных заслугах Василия Темного для Московского государства, о соединении всех (кроме одного) уделов Московского княжества, об упрочении влияния над Рязанью, над Новгородом. Об отношениях к последнему автор говорит: «Таким образом Великий Князь, смирив Новгород, предоставил сыну своему довершить легкое покорение оного». Мы знаем, что Московские великие князья стремились медленно, но постоянно, шаг за шагом, к единовластию; каждый в свою очередь делает новый шаг вперед, у каждого в предсмертных распоряжениях видим что-нибудь новое, упрочивавшее новый порядок вещей.

Василий Темный. узаконить новый порядок желая престолонаследия и отнять у враждебных князей всякий предлог к смуте, еще при жизни назвал старшего сына великим князем, объявив его соправителем. Димитрий Донской первый решился благословить старшего сына великим княжением Владимирским: Дмитриевич не решился сделать этого, зная о притязаниях брата Юрия; Василий Темный не только благословляет старшего сына своего отчиною, великим княжением, но считает великое Владимирское неразрывно соединенным с Московским, вследствие чего Владимир и другие города этого княжества смешивает с городами московскими. При распределении волостей между сыновьями Темный распоряжается так, что старший сын получает городов гораздо больше,

чем все остальные братья вместе, не говоря уж о значении городов и о величине областей; таким образом эти младшие сыновья получили удел, но старшему даны были все материальные средства держать младших под своею рукою. Заметим, что и сын Василия Иоанн III также оставил уделы младшим сыновьям. Несмотря на то, Карамзин и здесь не преминул сделать отзыв не к чести Василия: «Таким образом он (Великий) снова восстановил Уделы, довольный тем, Государство Московское (за исключением Вереи) остается подвластным одному Дому его, и не заботясь о дальнейших следствиях: ибо думал более о временной пользе своих детей, нежели о вечном государственном благе; отнимал города у других Князей только для выгод собственного личного властолюбия; следовал древнему обыкновению, не имев твердости быть навеки основателем новой, лучшей системы правления, или Единовластия... Василий преставился на сорок седьмом году жизни, хотя несправедливо именуемый первым Самодержцем Российским со времен Владимира Мономаха, однако ж действительно приготовив многое для успехов своего преемника: начал худо; не умел повелевать, как отец и дед его повелевали; терял честь и Державу, но оставил Государство Московское сильнейшим прежнего: ибо рука Божия, как бы вопреки малодушному Князю, явно влекла оное к величию, благословив доброе начало Калиты и Донского».

Заметим некоторые частности в повествовании о княжении Василия Темного. В рассказе о войне Витовта с Новгородом находим следующее место, чрезвычайно важное для статистики Новгородской области в первой половине XV века: «Витовт осадил Порхов... В городе начальствовал Посадник Григорий и знаменитый муж Исаак Борецкий... они выехали к неприятелю и предложили ему 5 000 рублей; а Новгородцы, прислав Архиепископа Евфимия с чиновниками в стан Литовский, также старались купить мир серебром. Витовт... взял 10 000 рублей, за пленников же особенную тысячу... Сия дань была тягостна для Новгородцев, которые собирали ее по всем их областям и в Заволочье; каждые десять человек вносили в казну рубль: следственно, в Новгородской земле находилось не более ста десяти тысяч людей, или владельцев, плативших государственные подати». Из этих слов выходит, что Витовт взял с порховцев 5 000 да потом с новгородцев 11 000, итого 16 000 рублей; так или почти так значится

действительно в Псковской Летописи, где сказано, что новгородцы дали Витовту 15 000 рублей; но здесь для нас главный авторитет представляет Новгородская Летопись, которая говорит, что «Порховичи докончаша за себе 5 000 рублев и Новгородцы другую 5 000 серебра, а шестую неполную; и то серебро браша на всех местах новгородских и по Заволочию с десяти человек рубль».

В рассказе о споре в Орде между великим князем Василием и дядею его Юрием читаем: Иоанн Димитриевич «умел склонить всех Ханских Вельмож в пользу своего юного Князя, представляя, что им Тегиня будет доставит Юрию если стыдно, ОДИН сан Великокняжеский; что сей Мурза необходимо присвоит себе власть и над Россиею и над Литвою, где господствует друг Юриев, Свидригайло». В летописи: «И коли царь его (Тягини) слову тако учинит, и в вас тогда что будет? Князь Юрий князь великий будет на Москве, а в Литве князь великий побратим его Свидригайло, а Тегиня во Орде и во царе волею лучши вас». Потом в рассказе о возобновлении борьбы между Василием И дядею останавливает объяснение любопытное и, по нашему мнению, верное, почему новый порядок вещей был благоприятнее для общего спокойствия, чем старый: «Сын, восходя на трон после отца, оставлял все, как было, окруженный теми же Боярами, которые служили прежнему Государю; напротив того, брат, княживший дотоле в какомнибудь особенном Уделе, имел своих Вельмож, которые, переезжая с ним в наследованную по кончине брата землю, обыкновенно удаляли тамошних Бояр от правления и вводили новости, часто вредные. Столь явные выгоды и невыгоды вооружили всех против старой мятежной системы наследственной и против Юрия».

Описывая вторичное торжество Юрия над племянником, автор говорит: «Юрий, снова объявив себя Великим Князем, договорными грамотами утвердил союз с племянниками своими... Достойно замечания, что сии грамоты начинаются словами: Божиею милостию, которые прежде не употреблялись в государственных постановлениях».

Должно заметить, что слова «Божиею милостию» употреблены уже прежде в договорной грамоте великого князя Василия Димитриевича с Тверским князем Михаилом. Приведя потом договор великого князя Василия с Шемякою, Карамзин говорит: «Шемяка,

следуя обыкновению, именует Василия старейшим братом, отдает себя в его покровительство, обязывается служить ему на войне и платить часть Ханской дани с условием, чтобы Великий Князь один сносился с Ордою, не допуская Удельных Владетелей ни до каких хлопот». Из этих слов выходит, как будто непосредственное сношение с Ордою было тягостною обязанностью, которую удельные князья старались сложить с себя, тогда как это было одно из важнейших прав великого князя, которое он ревниво берег для одного себя: это был главный признак независимости князя, его старшинства. В рассказе об отношениях новгородских находим следующее справедливое замечание: «Гораздо благоразумнее можно было искать сего предвестия (предвестия близкого падения Новгорода) в его нетвердой системе политической, особенно же в возрастающей силе Великих Князей, которые более и более уве. рялись, что он под личиною гордости, основанной на древних воспоминаниях, скрывает свою настоящую слабость. Одни непрестанные опасности Государства Московского со стороны Моголов и Литвы не дозволяли преемникам Иоанна Калиты заняться мыслию совершенного покорения сей народной Державы, которую они старались только обирать, зная богатство ее купцов. Так поступил и Василий».

Как в описании княжения Василия Димитриевича самый длинный-рассказ посвящен подвигам Тамерлана, так в описании княжения Василия Темного самый длинный рассказ посвящен Флорентийскому собору, который, бесспорно, имеет важное значение в русской истории, но не может входить в нее со всеми подробностями. Очень любопытен для нас прямо относящийся к русской истории рассказ о приеме Исидора в Москве по отношению к указанному прежде взгляду автора на характер великого князя Василия: «Таким образом, хитрость, редкий дар слова и великий ум сего честолюбивого Грека (Исидора)... оказались бессильными в Москве, быв побеждены здравым смыслом Великого Князя, уверенного, что перемены в Законе охлаждают сердечное усердие к оному и что неизменные Догматы отцев лучше всяких новых мудровании. Узнав же, что Исидор чрез несколько месяцев тайно ушел из монастыря, благоразумный Василий не велел гнаться за ним» и проч. При описании восстания Шемяки и князя Можайского автор говорит: «Главными их наушниками и подстрекателями были мятежные Бояре умершего Константина

Димитриевича, завистники Бояр Великокняжеских». В летописи: «Здумавше сии (Шемяка и Можайский) своими злыми советники, иже тогда быша у них Константиновичи и прочий бояре их». Здесь под Константиновичами разумеется известный боярин Никита Константинович с братьями, игравший такую важную роль в деле, как враг Темного; автор же под Константиновичами уразумел бояр князя Константина Димитриевича. В известии об отношениях Василия Темного к князьям Суздальским читаем: «Столь же снисходительно поступил Василий и со внуками Кирдяпы: оставил их господствовать в Нижнем, в Городце, в Суздале с условием, чтобы они признавали его своим верховным повелителем, отдали ему древние ярлыки Ханские на сей Удел, не брали новых и вообще не имели сношения с Ордою».

Карамзин при этом ссылается на договор, заключенный между Василием Темным и одним из потомков Суздальских князей, Иваном Васильевичем; но в этом договоре находим, что Василий Темный пожаловал Ивану Васильевичу только Городец да три волости в Суздале — о Нижнем и Суздале ни слова; о братьях же Ивановых говорится предположительно: «А добьют челом тобе, Великому Князю, моя братья князь Александр и князь Василей, и тобе жаловати их вотчиною, их жеребья по старине, что за ними было. А чем еси мене пожаловал Городцом и жеребьями брата моего княжим Андреевым: и тобе того под мною блюсти, а не вступатися». Для примера, в каком отношении находится рассказ историка к известию источников, сравним рассказ автора о последней битве Василия Темного и Шемяки с рассказом летописей о том же событии. В летописи: «Ходил князь великий на князя Дмитрия, хотя идти к Галичу, и бысть ему весть, что пошел к Вологде, и князь великий пойде на Иледам да Обнору, хотя идти на него к Вологде. Бывшу же ему у Николы на Обноре, и прииде к нему весть, что опять воротился к Галичу, и князь великий воротился Обнорою на низ да Костромою вверх и прииде на Железный Борок к Ивану Святому, и слышав, что князь Дмитрий в Галиче, а людей около его много, а город крепит, и пушки готовит, и рать пешая у него, и сам пред городом стоит со всею силою. Князь же великий, слышав то иположив упование на Господе Бозе, начат отпущати князей своих и воевод со всею силою своею, а большой был воевода князь Василий Иванович Оболенский, а прочих князей и воевод многое множество; потом же и царевичев отпустил и

всех князей их с ними. Приидошаже под Галич, а князь Дмитрей таки стояше на горе под городом со всею силою, не поступя ни с места. Воеводы же великого князя поидоша с озера к горе, опасаясь, понеже бо гора крута, и, выправясь из тех врагов, взыдоша на гору, и поидоши полки вместе, и бысть сеча зла; и поможе Бог великому князю, многих избиша, а лутших всех изымаша руками, а сам князь едва убеже, а пешую рать мало не всю избиша».

У Карамзина: «Василий уже хотел действовать решительно; призвал многих Князей, Воевод из других городов и составил ополчение сильное. Шемяка, думая сперва уклониться от битвы, пошел к Вологде, но, вдруг переменив мысли, расположился станом близ Галича: укреплял город, ободрял жителей и всего более надеялся на свои пушки. Василий, лишенный зрения, не мог сам начальствовать в битве: Князь Оболенский предводительствовал Московскими полками и союзными Татарами. Оставив Государя за собою, под щитами верной стражи, они стройно и бодро приближались к Галичу. Шемяка стоял на крутой горе, за глубокими оврагами; приступ был труден. То и другое войско готовилось к жестокому кровопролитию с равным мужеством: Московитяне пылали ревностию сокрушить врага ненавистного, гнусного злодеянием и вероломством; Шемяка обещал своим первенство в Великом Княжении со всеми богатствами Московскими. Полки Василиевы имели превосходство в силах, Димитриевы выгоду места. Князь Оболенский и Царевичи ожидали засады в дебрях; но Шемяка не подумал о том, воображая, что Москвитяне выйдут из оврагов утомленные, расстроенные и легко будут смяты его войском свежим: он стоял неподвижно и смотрел, как неприятель от берегов озера шел медленно по тесным местам. Наконец Москвитяне достигли горы и дружно устремились на ее высоту; задние ряды их служили твердою опорою для передних, встреченных сильным ударом полков Галицких. Схватка была ужасна: давно Россияне не губили друг друга с таким остервенением... Москвитяне одолели: истребили почти всю пехоту Шемякину и пленили его Бояр; сам Князь едва мог спастися».

После описания княжения Василия Темного, в конце V тома, помещена любопытная глава, содержащая в себе обзор состояния России от нашествия татар до Иоанна III. Она начинается следующими словами: «Наконец мы видим пред собою цель долговременных

усилий Москвы: свержение ига, свободу отечества. Предложим Читателю некоторые мысли о тогдашнем состоянии России, следствии ее двувекового порабощения». Из этого вступления читатель уже догадывается, какое могущественное влияние на состояние России от половины XIII до половины XV века будет приписано монголам: на на следствие состояние автор смотрит как двувекового порабощения. Конечно, читатель здесь с самого начала не может освободиться от некоторого недоумения. Автор говорит: «Предложим мысли о тогдашнем состоянии России, следствии ее Двувекового порабощения»; ясно, что автор хочет говорить о состоянии России пред вступлением на престол Иоанна III в шестидесятых годах XV века, ибо только это состояние могло быть следствием двувекового порабощения; но в заглавии читаем: «Состояние России от нашествия Татар до Иоанна III». Это различие очень важно, ибо если какоенибудь нравственное явление, считающееся в числе следствий двувекового татарского ига, мы найдем в первых годах этого ига, то будем иметь причину усумниться, действительно ли это явление есть зная, каждое историческое явление ига, что следствие утверждения влияния своего на народную нравственность требует продолжительного времени.

«Разделение нашего отечества, — говорит автор, — и междоусобные войны, истощив его силы, задержали Россиян и в успехах гражданского образования... Порядок, спокойствие, столь нужные. для успехов гражданского общества, непрестанно нарушались мечем и пламенем Княжеских междоусобиц, так что в XIII веке мы уже отставали от держав Западных в государственном образовании». Но известно, что в то самое время, как отечество наше страдало от разделения и междоусобий, державы западные страдали от того же самого.

«Сень варварства, — продолжает автор, — омрачив горизонт России, сокрыла от нас Европу в то самое время, когда благодетельные сведения и навыки более и более в ней размножались... В сие же время Россия, терзаемая Моголами, напрягала силы свои единственно для того, чтоб не исчезнуть: нам было не до просвещения! Если бы Моголы сделали у нас то же, что в Китае, в Индии, или что Турки в Греции, если бы, оставив степь и кочевание, переселились в наши города, то могли бы существовать и доныне в виде Государства. К

счастию, суровый климат России удалил от них сию мысль. Ханы желали единственно быть нашими господами издали, не вмешивались в дела гражданские, требовали только серебра и повиновения от Князей. Но так называемые Послы Ординские и Баскаки, представляя в России лице Хана, делали, что хотели; самые купцы, самые бродяги Могольские обходились с нами, как с слугами презрительными. Что долженствовало быть следствием? нравственное унижение людей. Забыв гордость народную, мы выучивались низким хитростям рабства, заменяющим силу в слабых; обманывая Татар, более обманывали и откупаясь деньгами от насилия друга; варваров, корыстолюбивее и бесчувственнее к обидам, к стыду, подверженные наглостям иноземных тиранов. От времен Василия Ярославича до Иоанна Калиты (период самый несчастнейший!) отечество наше походило более на темный лес, нежели на Государство: сила казалась правом; кто мог, грабил: не только чужие, но и свои; не было безопасности ни в пути, ни дома; татьба сделалась общею язвою собственности. Когда же сия ужасная тьма неустройства начала проясняться, оцепенение миновало, и закон, душа гражданских обществ, воспрянул от мертвого сна: тогда надлежало прибегнуть к строгости, неизвестной древним Россиянам. Нет сомнения, что жестокие судные казни означают ожесточение сердец и бывают следствием частых злодеяний. Добросердечный Мономах говорил детям: "не убивайте виновного; жизнь Христианина священна": не менее добросердечный победитель Мамаев, Димитрий, уставил торжественную смертную казнь, ибо не видал иного способа устрашать преступников. Легкие денежные пени могли некогда удерживать наших предков от воровства; но в XIV столетии уже вешали татей. Россиянин Ярославова века знал побои единственно в драке; иго Татарское ввело телесные наказания: за первую кражу клеймили, за вины государственные секли кнутом. Был действителен стыд гражданский там, где человек с клеймом вора оставался в обществе? Мы видели злодеяния и в нашей древней но сии времена представляют нам черты гораздо Истории: ужаснейшего свирепства в исступлениях Княжеской и народной злобы; чувство угнетения, страх, ненависть, господствуя в душах, обыкновенно производят мрачную суровость в нравах. Свойства народа изъясняются всегда обстоятельствами; однако ж действие часто

бывает долговременнее причины: внуки имеют некоторые добродетели и пороки своих дедов, хотя живут и в других обстоятельствах. Может быть, самый нынешний характер Россиян еще являет пятна, возложенные на него варварством Моголов».

Увещание Мономаха детям — не убивать ни правого, ни виноватого — не служит доказательством, что подобных действий не было в его время: если бы не было, то не нужно было бы и запрещать; прежде монгольского нашествия мы знаем, что Андрей Боголюбский Кучковича; следовательно, сказать, казнил нельзя торжественная смертная казнь была установлена Димитрием Донским. Автор говорит, что от времен Василия Ярославича до Йоанна Калиты отечество наше походило на темный лес относительно общественной безопасности, и в доказательство приводит одно только известие летописи, что Иоанн Калита прославился уменьшением разбойников и воров. Хотя в источниках можно отыскать и более указаний относительно разбоев, но все же выражение «темный лес» останется слишком резким, особенно если сравним известия из XIV века с многочисленными известиями состоянии общественной 0 безопасности во времена позднейшие, например в XVII веке, и с известиями о состоянии общественной безопасности в других соседних государствах в XIV же веке — в государствах, которые не знали татар. Телесные наказания не были введены татарами, потому что в Русской Правде встречаем известия о муках и телесных истязаниях, которым подвергался виновный; телесные наказания существовали везде в Европе, но были ограничены известными отношениями сословными; у нас же вследствие известных причин таких сословных отношений не было, откуда в древней нашей истории безразличие касательно телесных наказаний. Если телесные наказания принесены татарами, то каким образом встречаем их в Пскове во время его самостоятельности, в Пскове, который не знал татар?

По мнению автора, внутренний государственный порядок изменился также вследствие татарского влияния: города потеряли свой прежний быт. Прежде сам автор сказал, что ханы желали единственно быть нашими господами издали, не вмешивались в дела гражданские, требовали только серебра и повиновения от князей. Если бы города в начале монгольского ига сохраняли свой прежний быт, то легко было

бы им удержать его, задаривая ханов при спорах с князьями деньгами, поддерживая то того, то другого князя, как то делали новгородцы.

Но вполне справедливо заметил автор о перемене отношений дружины к князю вследствие утверждения единовластия: «В договорных грамотах XIV и XV веков обыкновенно подтверждалась законная свобода Бояр переходить из службы одного Князя к другому; недовольный в Чернигове, Боярин с своею многочисленною дружиною ехал в Киев, в Галич, во Владимир, где находил новые поместья и знаки всеобщего уважения... Но когда южная Россия обратилась в Литву; когда Москва начала усиливаться, присоединяя к себе города и земли; когда число Владетельных Князей уменьшилось, а власть Государева сделалась неограниченнее в отношении к народу, тогда и достоинство Боярское утратило свою древнюю важность. Где Боярин Василия Темного, им оскорбленный, мог искать иной службы в отечестве? Уже и слабая Тверь готовилась зависеть от Москвы».

Москва, по мнению автора, возвысилась также вследствие монгольского влияния: «Москва, будучи одним из беднейших Уделов Владимирских, ступила первый шаг к знаменитости при Данииле, которому внук Невского, Иоанн Димитриевич, отказал Переславль Залесский и который, победив Рязанского Князя, отнял у него многие земли. Сын Даниилов, Георгий, зять Хана Узбека, присоединил к своей области Коломну, завоевал Можайск и выходил себе в Орде Великое Княжение Владимирское; а брат Георгиев, Иоанн Калита, погубив Александра Тверского, сделался истинным Главою всех иных Князей, обязанный тем не силе оружия, но единственно милости Узбековой, которую снискал он умною лестию и богатыми дарами». Чтобы объяснить, каким образом Иоанн Калита приобрел средства делать богатые дары хану и скупать целые области, автор высказывает казну Великокняжескую Татар обогатило что «иго мнение, исчислением людей, установлением поголовной дани и разными налогами, дотоле неизвестными, собираемыми будто бы для Хана, но хитростию Князей обращенными в их собственный доход: Баскаки, сперва тираны, а после мздоимные друзья наших Владетелей, легко могли быть обманываемы в затруднительных счетах».

Для подтверждения этого мнения автор в примечании ссылается на рассказ свой о кончине Михаила Тверского под 1318 годом, но в этом рассказе можно найти только следующее известие, относящееся к

делу, — известие, которое, однако, нисколько не подтверждает приведенного мнения: «Призвали Михаила и велели ему отвечать на письменные доносы многих Баскаков, обвинявших его в том, что он не платил Хану всей определенной дани. Великий Князь ясно доказал их несправедливость свидетельствами и бумагами». Здесь мы для большей точности должны сравнить слова автора с рассказом летописца; автор говорит: «Начался суд. Вельможи собрались в особенном шатре, подле Царского; призвали Михаила и велели ему отвечать на письменные доносы многих Баскаков, обвинявших его в том, что он не платил Хану всей определенной дани». В летописи: «В един убо день собрашася вси князи ордыньскыя в едину вежу за царев двор, и покладаху многи грамоты со многым замышлением на князя Михаила, глаголюще: "Многы дани поймал еси на городех наших, царю же не дал еси"». Таким образом, в летописи нет ни слова о баскаках, что очень для нас важно при определении степени монгольского влияния. Откуда князья ордынские взяли грамоты — об этом также говорит летопись впереди: «Великый же князь Юрий Данилович пакы съимася с Кавгадыем, и поидоста наперед в Орду, поимши князи все низовские с собою, и бояре с городов и от Новогорода, по повелению окаянного Кавгадыя; и написаша многа лжесвидетельства на блаженного великого князя Михаила».

Не признав, как мы видели, в преемниках Боголюбского северных князьях постоянных стремлений к единовластию, не признав значения усобиц княжеских на Севере до времен Калиты, отделив стремления последнего от стремлений его предшественников, автор признал единовластие следствием монгольского влияния и выразил мнение, что Россия без монголов, вероятно, погибла бы от усобиц княжеских: «Могло пройти еще сто лет и более в Княжеских междоусобиях: чем заключились бы оные? вероятно, погибелию нашего отечества: Литва, Польша, Венгрия, Швеция могли бы разделить оное; тогда мы утратили бы и государственное бытие, и Веру, которые спаслися Москвою: Москва же обязана своим величием Ханам». Прежде автор показал нам, что усиление Москвы начинается с тех пор, как Переяславль присоединился к ней; потом Даниил Александрович, победив Рязанского князя, отнял у него многие земли; сын его, Георгий, присоединил Коломну, завоевал Можайск, объявил себя соперником Тверского князя; правда, что брат Юриев, Калита, одолел Тверь с помощью полков татарских, но прежде на Юге наемные полки половецкие играли нередко такую же решительную роль, и, однако, никто не говорит о могущественном влиянии половецком на судьбу древней Южной Руси...

По мнению автора, «одним из достопамятных последствий Татарского господства над Россиею было еще возвышение нашего Духовенства, размножения Монахов и церковных имений. Политика Ханов, утесняя народ и Князей, покровительствовала Церковь и ее служителей; изъявляла особенное к ним благоволение; ласкала Митрополитов и Епископов, снисходительно внимала их смиренным молениям и часто, из уважения к Пастырям, прелагала гнев на милость к пастве... Знатнейшие люди, отвращаемые от мира всеобщим государственным бедствием, искали мира душевного в святых Обителях и, меняя одежду Княжескую, Боярскую на мантию Инока, способствовали тем знаменитости духовного сана, в коем даже и Государи обыкновенно заключали жизнь. Ханы под смертною казнию подданным грабить, тревожить запрещали СВОИМ монастыри, обогащаемые вкладами, имением движимым и недвижимым. Всякой, готовясь умереть, что-нибудь отказывал Церкви, особенно во время язвы, которая столь долго опустошала Россию. Владения церковные, свободные от налогов Ордынских и Княжеских, благоденствовали; сверх украшения храмов и продовольствия Епископов, Монахов оставалось еще немало доходов на покупку новых имуществ. Новгородские Святители употребляли Софийскую казну в пользу государственную... Кроме тогдашней набожности, соединенной с высоким понятием о достоинстве Монашеской жизни, одни мирские преимущества влекли людей толпами из сел и городов в тихие, безопасные Обители, где слава благочестия награждалась не только уважением, но и достоянием; где гражданин укрывался от насилия и бедности, не сеял и пожинал! Весьма немногие из нынешних монастырей Российских были основаны прежде или после Татар; все другие остались памятником сего времени».

Справедливо, что ханы покровительствовали церкви и ее служителям; но явления, которые выставляются здесь следствием этого покровительства, существовали и прежде татар, существовали в одинаковой степени и в Руси Литовской, и в Новгороде, и во Пскове, неподверженных татарскому влиянию. Так и до татар знатнейшие

люди в Руси искали мира душевного в святых обителях; обыкновенно перед смертию отказывали что-нибудь монастырям, церквам... С другой стороны, не должно думать, чтобы татары в своих набегах и послы ханские щадили церкви и монастыри: летописи говорят противное. Наконец, касательно положения, что большая часть монастырей осталась памятником татарского времени, история церкви опровергает его, указывая, что до конца XIII века, то есть во время тягчайшего ига, не возникло ни одного монастыря. Монастыри, и знаменитейшие из них, начинают основываться уже в московскую эпоху, во время, почти безопасное от татарских насилий (см. Историю Российской Церкви, период II, стр. 76 и 152).

автор совершенно справедливо описывает характер Далее, русского духовенства, отличая его от духовенства римского: «Несмотря на свою знаменитость и важность, Духовенство наше не оказывало излишнего властолюбия, свойственного Духовенству Западной Церкви, и, служа Великим Князьям в государственных делах полезным орудием, не спорило с ними о мирской власти. В раздорах Княжеских Митрополиты бывали посредниками, но избираемые единственно с обоюдного согласия, без всякого действительного права; ручались в истине и святости обетов, но могли только убеждать совесть, не касаясь меча мирского, сей обыкновенной угрозы Пап для ослушников их воли... Одним словом, Церковь наша вообще не изменялась в своем главном, первобытном характере, смягчая неистовые страсти, проповедуя умеряя нравы, жестокие Христианские, и государственные добродетели. Милости Ханские не могли ни задобрить, ни усыпить ее Пастырей: они в Батыево время благословляли Россиян на смерть великодушную, при Димитрии Донском на битвы и победу... История подтверждает истину, предлагаемую всеми Политиками-Философами и только для одних легких умов сомнительную, что Вера есть особенная государственная. В Западных странах Европейских Духовная власть присвоила себе мирскую оттого, что имела дело с народами полудикими — Готфами, Лангобардами, Франками, — которые, овладев ими и приняв Христианство, долго не умели согласить оного с своими гражданскими законами, ни утвердить естественных границ между сими двумя властями, а Греческая Церковь воссияла в Державе благоустроенной, и Духовенство не могло столь легко захватить

чуждых ему прав. К счастию, Святой Владимир предпочел Константинополь Риму». Читая эти строки, удивляешься, как могло возникнуть против Карамзина возражение, будто бы он не уяснил влияния греческой церкви в русской истории!

Показав степень татарского влияния, автор обращается к вопросу, в каких сферах этого влияния быть не могло: он отрицает влияние татар на обычаи народные, гражданское законодательство, домашнюю жизнь, русский язык, причем замечает: «Вообще с XI века мы не подвинулись вперед в гражданском законодательстве; но, кажется, отступили назад к первобытному невежеству народов в сей важной части государственного благоустройства... Не менее отстали мы и в искусстве ратном... мы, кроме пороха, в течение сих веков не узнали и не приобрели ничего нового. Состав нашей рати мало изменился. Все Главные чиновники государственные: Бояре Старшие, Большие, Путные (или поместные, коим давались земли, доходы казенные, путевые и другие), Окольничие, или ближние к Государю люди, и Дворяне — были истинным сердцем, лучшею, благороднейшею частию войска и, собственно, именовались Двором Великокняжеским. Второй многочисленнейший род записных людей воинских назывался Детьми Боярскими; в них узнаем прежних Боярских Отроков; а Княжеские обратились в Дворян».

Здесь должно заметить, что дети боярские никак не могли образоваться из боярских отроков, а дворяне из княжеских, ибо во все описываемое время дети боярские занимают степень высшую пред дворянами. Бояре путные определяются у автора поместными, которым давались земли, доходы казенные, путевые и другие; в примечании 115-м о боярах путных он говорит решительно: «Так назывались Бояре, коим давались земли с правом собирать на путях или дорогах пошлину». Это догадка, основанная на слове путь, а не на известиях источников.

Что ж касается до положения о происхождении казаков, то оно до сих пор остается удовлетворительнейшим. Вероятно, что имя Козаков «в России древнее Батыева нашествия и принадлежало Торкам и Берендеям, которые обитали на берегах Днепра, ниже Киева. Там находим и первое жилище Малороссийских Козаков. Торки и Берендеи назывались Черкасами; Козаки также. Вспомним Касогов, обитавших, по нашим летописям, между Каспийским и Черным морем; вспомним

и страну Казахию, полагаемую Императором Константином Багрянородным в сих же местах; прибавим, что Осетинцы и ныне именуют Черкесов Касахами: столько обстоятельств вместе заставляют думать, что Торки и Берендеи назывались Черкасами; назывались и Козаками; что некоторые из них, не хотев покориться ни Моголам, ни Литве, жили, как вольные люди, на островах Днепра, огражденных скалами, непроходимым тростником и болотами, приманивали к себе многих Россиян, бежавших от угнетения, смешались с ними и под именем Козаков составили один народ, который сделался совершенно Русским, тем легче, что предки их, с десятого века обитав в области Киевской, уже сами были почти Русскими».

## Глава V

Миллер в сочинении своем о Новгороде высказал такое мнение об Иоанне III: «Великому князю Василию наследовал сын его Иоанн, мудрый и мужественный государь, который не только свергнул татарское иго, но и начал подчинять своему скипетру малые княжества и тем положил основание последующей силе и внутреннему величию государства». Шлёцер в введении к своей «Российской истории» говорит об Иоанне: «Наконец явился великий человек, который отомстил за Север, освободил свой угнетенный народ и страх оружия своего распространил до самых столиц своих тиранов. Под образовалось творческими руками Иоанна могущественное государство, которое превосходит величиною все государства мира. Россия исполинскими шагами пошла от завоевания к завоеванию; большие государства стали ее провинциями; отторгнутые области возвратились под державу своих древних и законных владетелей, и беспокойные соседи должны были покупать мир уступкою целых стран».

Далее, при описании четвертого периода русской истории, он говорит: «Иоанн Васильевич, побуждаемый своею бессмертною супругою Софиею, вооружился для спасения государства, соединил в одно многие малые княжества и чрез это так усилился, что не только мог свергнуть иго татар, но даже подчинить себе их собственные царства».

Наконец, князь Щербатов так описывает Иоанна: «Он был разумен и дальновиден: свидетельствуют то его дела и мудрые учреждения; ибо никогда нечаянная война его не находила неготового к брани, и все почти свои брани окончил с меньшим, елико возможно, кровопролитием; приобрел себе самодержавную державу над Новым Городом и покорил Тверское Княжение, не толь силою оружия своего, коль мудрыми своими поступками, и принудя и самые вольные народы любить свою власть. Разными образами сыскал способ присоединить к Московскому Княжению в полную себе власть и другие удельные княжения и чрез сие самое прекратить все междоусобия и беспокойства, которые Россию колебали и ослабливали ее. Старался с

европейскими государствами иметь союзы и сообщения, дабы чрез сие просветить свои народы в нужных вещах; чего ради и множество чужестранных разных художников в Россию выписывал; а притом сими союзами в Европе хотел учинить некоторый перевес и силе татарской. Тщателен он был содержать союз с Менгли-Гиреем, ханом крымским, как для устрашения всегдашних врагов России, поляков и литовцев, так дабы и более татар больший орды всегда в разделении содержать, от подданства которых он первый почти освободился. Строгий исполнитель веры, во всю жизнь свою совершенное набожие, исполняя то строением храмов, почтением к духовному чину и истреблением ересей. Можно еще сказать, что самая твердость его в греческом католицком законе много ему и в политических делах послужила: ибо, быв почитаем истинным защитником православной веры, ту часть новгородцев, которые не хотели ради разности вер поддаться полякам и литовцам, по самой обязанности к вере, в доброжелательстве к себе удержал; и когда началась брань с князем Александром Литовским, тогда многие князья и с вотчинами своими по единоверию под власть великого князя московского предались. Знающий в военном тогдашнего времени искусстве, но елико можно избегающий от войны, яко от величайшего государствам зла. Хотя сей государь и не во многие походы сам ходил, но я не думаю, чтобы сие было от недостатка личной его храбрости; но за лучшее почитал чрез воевод своих всегда действовать, представляя себе изнутри государства равно действия войск своих учреждать, нежели, обратя свои внимания на единую войну, оставить какую другую часть государства без нужного призрения».

Таково было утвердившееся до Карамзина мнение о значении Иоанна III в нашей истории: Иоанн положил основание силе и величию государства Русского; под творческими его образовалось могущественное государство; он собрал Русскую землю; он освободил ее от татарского ига, прекратил все междоусобия и беспокойства. Уже в рассказе о деятельности предшественников Иоанновых Карамзин раза два намекает об отношении деятельности деятельности Иоанна; так, при определении значения Куликовской замечательные, битвы МЫ встречаем справедливые слова: Мамаево побоище доказало возрождение сил в несомнительной связи действий с причинами России

отдаленными служило основанием успехов Иоанна III, коему судьба назначила совершить дело предков, менее счастливых, но равно великих». Здесь предки Иоанна III представлены одинаково с ним великими; разница заключается в большем и меньшем счастии. Потом, рассказав о походе Василия Темного на Новгород, Карамзин заключает: «Таким образом Великий Князь, смирив Новгород, предоставил сыну своему довершить легкое покорение оного».

Читатель на основании этих намеков вправе ожидать, что автор представит Иоанна довершителем дела предков, равно великих, довсякое вершителем уже довершение легкого, как дела приготовленного, и встречает в начале описания княжения Иоаннова следующие строки: «Отсель История наша приемлет достоинство истинно государственной, описывая уже не бессмысленные драки Княжеские, но деяния Царства, приобретающего независимость и величие. Разновластие исчезает вместе с нашим подданством; образуется Держава сильная, как бы новая для Европы и Азии, которые, видя оную с удивлением, предлагают ей знаменитое место в их системе политической. Уже союзы и войны наши имеют важную цель: каждое особенное предприятие есть следствие главной мысли, устремленной ко благу отечества. Народ еще коснеет в невежестве, в грубости; НО Правительство уже действует законам ПО ума просвещенного. Устрояются лучшие воинства, призываются Искусства, нужнейшие для успехов ратных и гражданских. Посольства Великокняжеские спешат ко всем Дворам знаменитым; Посольства иноземные одно за другим являются в нашей столице: Император, Папа, Короли, Республики, Цари Азиятские приветствуют Монарха Российского, славного победами и завоеваниями, от пределов Литвы и Новгорода до Сибири. Издыхающая Греция отказывает нам остатки своего древнего величия; Италия дает первые плоды рождающихся в ней художеств. Москва украшается великолепными зданиями. Земля открывает свои недра, и мы собственными руками извлекаем из оных металлы драгоценные. Вот содержание блестящей Истории Иоанна III, который имел редкое счастие властвовать сорок три года и был достоин оного, властвуя для величия и славы Россиян».

В этой картине нас останавливают слова, что со времен Иоанна III история уже не описывает бессмысленных драк княжеских. Слова эти чрезвычайно важны, потому что в них поставлено главное отличие

государственной истории, начинающейся со времен Иоанна III, от истории предшествующей, которая характеризуется бессмысленными драками княжескими. Почему древняя русская история принимает здесь у Карамзина такой характер, отчасти объясняется сказанным прежде о значении времени, последовавшего за смертию Ярослава I: «Древняя Россия погребла с Ярославом свое могущество благоденствие. Государство, шагнув, так сказать, в один век от колыбели своей до величия, слабело и разрушалось более трехсот лет. Историк чужеземный не мог бы с удовольствием писать о сих временах, скудных делами славы и богатых ничтожными распрями многочисленных властителей, коих тени, обагренные кровию бедных подданных, мелькают перед его глазами в сумраке веков отдаленных». Но если автор не признает смысла в борьбе княжеской ни до Всеволода III, ни после него, то мы видели, что он дает смысл борьбе, начиная со времен Иоанна Калиты, которому и его преемникам он приписывает стремления к единовластию; следовательно, история перестает описывать бессмысленные драки княжеские уже со времен Иоанна Калиты, а не со времен только Иоанна III. «Разновластие исчезает вместе с нашим подданством». Если здесь исчезает принять в смысле продолжающегося действия, а не оконченного, то это будет признак не одного княжения Иоаннова, но и предшественников его; принять же в смысле действия оконченного нельзя, ибо разновластие не исчезло в княжение Иоанна III.

«Образуется Держава сильная, как бы новая для Европы и Азии, которые, видя оную с удивлением, предлагают ей знаменитое место в их системе политической». Известно, что Россия не вступала в политическую систему Европы до времен Петра Великого; при Иоанне ближайшими могущественными державами были империя Римско-Германская и Турецкая; император Фридрих и сын его Максимилиан, как скоро увидали, что Московский князь не может быть им полезен в Германии и Нидерландах, тотчас же прекратили с ним сношения; сношения с Турциею ограничивались делами торговыми. Важный интерес заключали в себе, как и прежде, отношения к державам соседним: к Швеции, Ливонии, Литве и Ордам Татарским; Московское государство не участвует во времена Иоанна ни в одном общеевропейском событии, следовательно, не занимает места в

политической системе Европы. Касательно же политической системы Азии мы ничего не знаем.

«Уже союзы и войны наши имеют важную цель: каждое особенное предприятие есть следствие главной мысли, устремленной ко благу отечества». Эти черты опять общие княжению Иоанна III с княжениями его предшественников; как у него, так и у них были три важные цели: утверждение единовластия, борьба с татарами, борьба с Литвою; разница средствах, которые приготовлялись В предшественниками и которыми пользовался Иоанн. То же должно сказать и о союзах: если Иоанн крепко держался союза с ханом Крымским против Литвы, то это не был первый опыт; дед его Василий Димитриевич также находился в союзе с татарами против Литвы: «Устрояются лучшие воинства, призываются Искусства, нужнейшие для успехов ратных и гражданских». Относительно первого вернее было бы сказать: устрояются многочисленнейшие воинства; второе справедливо.

«Посольства великокняжеские спешат ко всем Дворам знаменитым». Мы видим послов московских только при двух знаменитых дворах: Австрийском и Турецком; не видим их ни в Испании, ни во Франции, ни в Англии.

«Издыхающая Греция отказывает нам остатки своего древнего величия». Мы не знаем, что автор разумел под этими остатками.

Характер Иоанна вообще представлен правильно: «В лета пылкого юношества он изъявлял осторожность, свойственную умам зрелым, опытным и ему природную: ни в начале, ни после не любил дерзкой отважности; ждал случая, избирал время; не быстро устремлялся к цели, но двигался к ней размеренными шагами, опасаясь равно и легкомысленной горячности, и несправедливости, уважая общее мнение и правило века».

Василий Темный оставил в наследство сыну борьбу с новооснованным царством Казанским. Эта борьба при Иоанне III началась по следующему поводу, описанному у Карамзина согласно с источниками: «Царевич Касим, быв верным слугою Василия Темного, получил от него в Уделе на берегу Оки Мещерский городок, названный с того времени Касимовым; жил там в изобилии и спокойствии; имел сношения с Вельможами Казанскими и, тайно приглашенный ими свергнуть их нового Царя, Ибрагима, его пасынка, требовал войска от

Иоанна, который с удовольствием видел случай присвоить себе власть над опасною Казанью, чтобы успокоить наши восточные границы, подверженные впадениям ее хищного, воинственного народа». Но прежде этого автор приводит еще другую причину похода на Казань, которая служит связью между этим известием о походе и двумя или тремя другими разнородными известиями, а именно: «Истекала, говорит автор, — седьмая тысяча лет от сотворения мира по Греческим Хронологам: суеверие с концом ее ждало и конца миру. Сия несчастная мысль, владычествуя в умах, вселяла в людей равнодушие ко славе и благу отечества; менее стыдились государственного ига, менее пленялись мыслию независимости, думая, что все ненадолго... Огорчаясь вместе с народом. Великий Князь, сверх того, имел несчастие оплакать преждевременную смерть юной, нежной супруги, Марии... К горестным случаям сего времени Летописцы причисляют и то, что Первосвятитель Феодосии, добродетельный, ревностный, оставил Митрополию... Наконец Иоанн предприял воинскими действиями рассеять свою печаль и возбудить в Россиянах дух бодрости. Царевич Касим...» и т. д., как уже приведено выше.

Относительно того, что мысль о скором конце мира вселяла в людей равнодушие ко славе и благу отечества, автор ссылается на два источника: во-первых, на предисловие к «Церковному Кругу», где сказано: «Нации мнеша, яко скончеваем седмой тысущи быти и скончанию мира яко же и преже скончеваемей шестой тысущи сицево же мнение объдержаше люди»; во-вторых, на слова псковичей владыке Ионе: «При сем последнем времени о церквах Божиих смущенно сильно».

За рассказом о походах казанских следует рассказ о первой войне Новгородской. Рассказ этот вообще правилен, согласен с источниками, и мы должны остановиться только на некоторых немногих местах, требующих объяснения. При описании борьбы сторон в Новгороде мало выставлено значение православия, которое было главным препятствием к соединению Новгорода с Литвою, о чем заметил князь Щербатов. Деятельность Марфы Борецкой автор выставляет как явление, противное древним обыкновениям и нравам славянским, которые, по мнению автора, удалили женский пол от всякого участия в делах гражданства. Нам не нужно здесь говорить о древних обыкновениях и нравах славянских, нам нужно только вспомнить, что

Марфа была мать знаменитого семейства Борецких, стоявших на первом плане в Новгороде, а известно, какое обширное влияние имели матери семейств над своими детьми; нам известно, что князья наши, умирая, завещевали сыновьям не выступать из воли матери, слушаться ее, полагаться во всем на ее решения, и мы видим действительно, что эти завещания свято исполнялись сыновьями, которые ничего не делали без благословения матери; после этого нам нельзя удивляться, что Марфа Борецкая имела такое влияние на дела в Новгороде.

договоре новгородцев Казимиром автор O «Многочисленное посольство отправилось в Литву с богатыми дарами и с предложением, чтобы Казимир был главою Новгородской Державы на основании древних уставов ее гражданской свободы. Он принял все условия и написал грамоту». Но, сравнив эту грамоту с грамотами, которые заключались с великими князьями Московскими, мы находим разницу, а именно: в Казимировой грамоте не встречаем условия держать княжение честно и грозно, не встречаем условия прав короля раздавать волости, грамоты вместе с посадником, не лишать волостей без вины; нет условия о праве короля брать дар со всех волостей новгородских, о праве охотиться в известных местах, посылать своего человека за Волок и проч. Начало явного движения стороны Борецких в пользу Казимира описывается у автора так: «Посол, возвратись в Новгород, объявил народу о милостивом расположении Иоанновом. Многие граждане, знатнейшие чиновники и нареченный Архиепископ Феофил хотели воспользоваться сим случаем, чтоб прекратить опасную распрю с Великим Князем; но скоро открылся мятеж, какого давно не бывало в сей народной Державе». Следует описание значения Марфы Борецкой, после чего автор продолжает: «Видя, Посольство Боярина Никиты сделало в народе впечатление, противное ее намерению, и расположило многих граждан к дружелюбному сближению с Государем Московским, Марфа предприяла действовать решительно. Ее сыновья, ласкатели, единомышленники, окруженные многочисленным сонмом людей подкупленных, явились на Вече и торжественно сказали, что настало время управиться с Иоанном» и проч.

Это событие описано не вполне согласно с источниками, где приводится обстоятельство, которым воспользовались Борецкие: в то время как посольство боярина Никиты давало перевес стороне

московской, явились послы псковские с такою речью: «Нас великий князь и наш государь поднимает на вас; от вас же, своей отчины, челобитья хочет. Если нам будет надобно, то мы за вас, свою братью, ради отправить посла к великому князю бить челом о мире». Это посольство дало Борецким предлог кричать против Москвы: так объясняется дело из послания к новгородцам митрополита Филиппа, который пишет: «Ваши лиходеи наговаривают вам на великого князя: опасную грамоту он владыке нареченному дал, а между тем псковичей на вас поднимает и сам хочет на вас идти. Дети! такие мысли враг дьявол вкладывает людям: князь великий еще до смерти владыки и до вашего челобитья об опасной грамоте послал сказать псковичам, чтоб они были готовы идти на вас, если вы не исправитесь, а когда вы прислали челобитье, так и его жалованье к вам тотчас пошло». Карамзин приводит послание митрополита, но эти слова опускает; опускает также любопытное указание митрополита на Борецких: «Многие у вас люди молодые, которые еще не навыкли доброй старине, как стоять и поборать по благочестии, а иные, оставшись по смерти отцев не наказанными, как жить в благочестии, собираются в сонм и поощряются на земское нестроение».

покорение Новгорода, автор обращается Описав его происхождению, устройству, причинам падения. Касательно происхождения новгородского быта он говорит: «Не в правлении вольных городов Немецких, как думали некоторые писатели, но в первобытном составе всех Держав народных, от Афин и Спарты до Унтервальдена или Глариса, надлежит искать образцов Новгородской политической системы, напоминающей ту глубокую древность, когда они, избирая сановников вместе для войны и суда, оставляли себе право наблюдать за ними, свергать в случае неспособности, казнить в случае измены или несправедливости и решать все важное и чрезвычайное в общих советах». Здесь историк XIX века взглянул на дело гораздо глубже, чем предшественники его, историки XVIII века, случайным удовольствовавшись внешним, которые, сходством новгородского быта с бытом вольных городов немецких, заключили, что первый образовался по подражанию последнего; Карамзин отвергает это подражание и предполагает общее сходство в начальном образовании общин как в древнем, так и в новом мире.

Но мы не можем вполне согласиться и с его мнением, потому что быт Новгорода в том виде, в каком он представлен самим автором, не ведет своего происхождения из глубокой древности; сам автор говорит, что новгородцы при пользовании известными правами ссылались на жалованную грамоту Ярослава Великого; сам автор в девятой главе второго тома определил время, когда посадники начали избираться новгородцами. Принимая положение Монтескье относительно причин твердости государств, Карамзин причиною падения Новгорода полагает утрату воинского мужества, происшедшую от усиления увеличения богатства: «Падение Новгорода торговли ознаменовалось утратою воинского мужества, которое уменьшается в Державах торговых с умножением богатства, располагающего людей к народ считался некогда мирным. Сей наслаждениям воинственным в России и, где сражался, там побеждал, в войнах междоусобных и внешних: так было до XIV столетия. Счастием спасенный от Батыя и почти свободный от ига Монголов, он более и более успевал в купечестве, но слабел доблестию: сия вторая эпоха, цветущая для торговли, бедственная для гражданской свободы, начинается со времен Иоанна Калиты. Богатые Новгородцы стали откупаться серебром от Князей Московских и Литвы. Ополчения Новгородские в XV веке уже не представляют нам ни пылкого духа, ни искусства, ни успехов блестящих. Что кроме неустройства и малодушного богатства видим в последних решительных битвах?»

Но если мы и примем эту причину падения Новгорода, то не можем принять ее одну: если, с одной стороны, новгородцы вследствие умножения богатства теряли воинское мужество, то, с другой стороны, великие князья все более и более усиливались; легко было бороться Новгороду до XIV века с князьями слабыми, ведшими друг с другом постоянные усобицы; трудно и наконец невозможно стало ему бороться с преемниками Калиты, располагавшими всеми силами Северо-Восточной Руси. Сам Карамзин при описании похода отца Иоаннова на Новгород совершенно справедливо указывает причины слабости последнего, говоря: «Летописцы повествуют, что внезапное падение тамошней великолепной Церкви С. Иоанна наполнило сердца предвестив близкое падение Новогорода: благоразумнее можно было искать сего предвестия в его нетвердой системе политической, особенно же в возрастающей силе Великих Князей, которые более и более уверялись, что он под личиною гордости, основанной на древних воспоминаниях, скрывает свою настоящую слабость. Одни непрестанные опасности Государства Московского со стороны Моголов и Литвы не позволяли преемникам Иоанна Калиты заняться мыслию совершенного покорения сей Державы. Можно еще взять ранее и сказать, что одна только усобица с Московским князем помешала Михаилу Тверскому совершенно покорить Новгород».

Еще до первого похода Иоаннова на Новгород началась пересылка с Римом по поводу сватовства великого князя Московского на Софии Палеолог, племяннице последнего императора Византийского. Это сватовство и брак описаны у Карамзина подробно и вообще верно, связно, без перерыва другими известиями, находящимися в летописях по хронологическому порядку. Что касается следствий этого важного для России события, то автор говорит: «Главным действием сего брака было то, что Россия стала известнее в Европе, которая чтила в Софии племя древних Императоров Византийских и, так сказать, провожала ее глазами до пределов нашего отечества; начались Государственные сношения, пересылки; увидели Москвитян дома и в чужих землях; говорили об их странных обычаях, но угадывали и могущество. Сверх того, многие Греки, приехавшие к нам с Царевною, сделались полезны в России своими знаниями в Художествах и в языках, особенно в Латинском, необходимом тогда для внешних дел Государственных; обогатили спасенными от Турецкого варварства книгами Московские церковные библиотеки и способствовали велелепию нашего Двора сообщением ему пышных обрядов Византийского, так что с сего времени столица Иоаннова могла действительно именоваться Новым Царемградом, подобно древнему Киеву. Следственно, падение Греции, содействовав возрождению Наук в Италии, имело счастливое влияние на Россию».

Мы должны заметить, что по поводу брака Иоаннова на Софии начались сношения только с одною Венециею; из греков, приехавших с Софиею, сделались полезны в России своими знаниями в художествах и языках очень немногие; автор не мог назвать нам многих. Какие пышные обряды Византийского двора сообщили Московскому двору выезжие греки во времена Иоанна III, этого автор также не показал и, по нашему мнению, показать не мог. Не приехавшие с Софиею греки,

но сама София имела для Московского Государства великое значение, характер которого так ясно поняли и передали нам современники; автор прошел молчанием их свидетельства; только при известии о кончине Софии говорит вообще о ее влиянии: «Он (Иоанн) лишился тогда супруги: хотя, может быть, и не имел особенной к ней горячности, но ум Софии в самых важных делах Государственных, ее полезные советы и, наконец, долговременная свычка между ими сделали для него сию потерю столь чувствительною, что здоровье Иоанново, дотоле крепкое, расстроилось».

Известие об отправлении в Венецию Толбузина, который имел поручение вывезти оттуда искусного архитектора, составляет естественный переход к известиям о постройках, которыми украсилась Москва при Иоанне III: «Соборный храм Успения, основанный Св. Митрополитом Петром, уже несколько лет грозил падением, и Митрополит Филипп желал воздвигнуть новый по образцу Владимирского. Долго готовились; вызывали отовсюду строителей; заложили церковь с торжественным обрядом. Сей храм еще не был достроен, когда Филипп Митрополит преставился, испуганный пожаром». Здесь читателя необходимо останавливает пробел между известиями: «вызывали отовсюду строителей» и «храм еще не был достроен». Кто же строил?

Выражение: «вызывали отовсюду строителей» — не соответствует рассказу летописца, который говорит: «Помысли Филипп Митрополит церковь соборную воздвигнути: призва мастеры, Ивашка Кривцова да Мышкина, и нача им глаголати, аще имутся делати? Мастери же изымашася». Далее: «Преемник его (Филиппов) Геронтий также ревностно пекся о ее строении; но, едва складенная до сводов, она с ужасным треском упала. Видя необходимость иметь лучших художников, чтоб воздвигнуть храм, достойный быть первым в Российской державе, Иоанн послал в Псков за тамошними каменьщиками, учениками Немцев, и велел Толбузину, чего бы то ни стоило, сыскать в Италии Архитектора, опытного для сооружения Успенской кафедральной церкви».

Здесь псковские каменщики противополагаются архитектору; выходит, что архитектором Успенского собора был вызванный из Италии Аристотель, а каменщиками — вызванные из Пскова работники; но, по летописи, вызванные из Пскова люди были вовсе не

каменщиками, но такими же архитекторами, как и Аристотель, и летописец одинаково называет их мастерами церковными; по летописи, выходит, что великий князь сначала хотел поручить строение церкви псковским мастерам, но потом передумал и послал для строения Успенского собора за архитектором в Италию, а псковским архитекторам поручил строение других церквей: они построили Троицкий собор в Сергиеве монастыре, Благовещенский собор на великокняжеском дворе, соборные церкви в Златоустовском и Сретенском монастырях, церковь Риз положения на митрополичьем дворе.

В рассказе о построении Теремного дворца автор говорит: «Сильный пожар обратил весь город в пепел. Государь переехал в какой-то большой дом на Яузу, к церкви Св. Николая Подкопаева, и решился соорудить дворец каменный». В летописи: «Тогда же был князь великий у Николы Подкопаева у Яузы в християнских (крестьянских) дворех». В заключение рассказа читаем: «Угождая Государю, знатные люди также начали строить себе каменные домы: в летописях упоминается о палатах Митрополита, Василия Федоровича Образца и Головы Московского, Дмитрия Владимировича Ховрина». Здесь мы должны указать на неверность, которая может повести к значительным недоразумениям. Звания Головы Московского в описываемое время не было; один из сыновей боярина Владимира Григорьевича Ховрина, Иван Владимирович, носил не звание, но прозвище Голова, откуда потомство его получило Головиных; в летописи под 1485 годом читаем: «Того же лета Дмитрей Володимеров сын Ховрин палату кирпичную и ворота заложи, и соверший» — и потом под тем же годом: «Того же лета Василей Образец и Голова Володимеров сын заложиша палаты кирпичны»; здесь разумеется под Головою Иван Владимирович, и его нельзя смешивать с братом его, Дмитрием Владимировичем, который Головою не был и не назывался.

Начиная с княжения Иоанна III, нам важно в «Истории государства Российского» следить за известиями о дипломатических сношениях Московского государства с державами иностранными, проверить эти известия по источникам, потому что источники эти до сих пор большею частию еще не изданы. Начнем с дел крымских и сравним, для примера, известие о посольстве бояр: Семена Борисовича

— в 1486 году и Димитрия Васильевича Шеина — в 1487-м. В «Истории государства Российского» читаем: «Кроме обыкновенных гонцов отправлялись в Тавриду и знаменитые Послы: в 1486 году Семен Борисович, в 1487-м Боярин Димитрий Васильевич Шеин — с ласковыми грамотами и дарами, весьма умеренными». В источниках находится следующий наказ боярину Семену Борисовичу: «Беречь накрепко, чем царь с королем (Казимиром) не мирился, ни канчивал. А взмолвит царь о том: князь великий с королем послы ссылается, — ино молвити так: "послы меж их ездят о мелких делах о порубежных, а гладости ни которые и миру осподарю нашему великому князю с королем нет. Что еси пожаловал, послал своих людей на королеву землю, занеж король тебе недруг и осподарю моему недруг, инобы недругу вашему чем истомнее, тем бы лутши, а осподаря нашего великого князя люди безпрестанно емлют королеву землю".

Если Менгли-Гирей спросит: "Я иду; князь великий идет ли?" — то отвечать: "Всхочешь свое дело делати, пойдешь на короля, ино велми добро, а осподаря моего о том обошлешь, и осподарь мой один человек на короля, а твое дело да и свое делает как ему Бог поможет". Учнет царь посла своего посылати к великому князю, ино говорити царю о том, чтобы с послом лишних людей не было. Похочет царь сам пойти воевати на литовскую землю, а Семена захочет с собою поняти, и Семену у него отговариватися, а начнет царь свой ход откладывати Семенова для отговора, и Семену с ним пойти, а не отговариватися, а пойдет король на великого князя, и Семену о том царю говорити, чтоб царь сам сел на конь да пошел на литовскую землю воевати, а самому Семену тогды о своем ходу не отговариватися, а с царем пойти. А похочет царь послать воевати литовские земли или сам пойти, а всхочет идти к Путивлю или на Северу, и Семену говорити, чтоб царь послал воевати или сам пошел на Подолье или на киевские места».

В наказе Шеину читаем: «Говорити накрепко, чтоб Менгли-Гирей пошел на Орду или брата своего послал, а какими делами не пойдет, говорити о том, чтоб царь на короля пошел. Послу идти с царем на Литву только в том случае, когда цари Муртоза и Седи-ахмет пойдут навеликого князя, ибо они пойдут по наущению литовскому; если же эти цари не пойдут на Москву, то послу отговариваться от похода с Менгли-Гиреем на Литву; а не отговорится, а за тем будет царю не ити на литовскую землю, и послу с царем пойти. Беречи крепко, чтоб царь

с королем не мирился. Если же царь скажет, что королев посол у него сидит изыман, и князь великий, что ему приказал о после королеве? — то отвечать: «Король, господине, как тебе недруг, так и моему осподарю недруг: ино чем недругу досаднее, так путчи». Шеину наказано было не уезжать из Крыма ни весной, ни летом, а беречь того, чтобы царь шел или на Орду, или на короля, а великого князя обсылать обо всем. Для этих обсылок встречаем такое распоряжение: «А се ехати с Дмитрием с Шейным татаром, а проводити им Дмитрея в Перекоп в Орду: из Тостунова, из Шитова, из Коломны, из Ловичина, из Суражика, из Берендеева, из Ижва». Одних из этих татар посол должен был отпустить, других оставить с собою «в Перекопе на лежанье вестей лля».

Об отношениях Иоанна к Литве при жизни Казимира автор рассуждает так: «Несмотря на взаимную ненависть между сими двумя Державами, ни которая не хотела явной войны. Казимир, уже старый и всегда малодушный, боялся твердого, хитрого, деятельного и счастливого Иоанна, увенчанного славою побед; а Великий Князь отлагал войну по внушению государственной мудрости: чем более медлил, тем более усиливался и вернее мог обещать себе успеха, неусыпно стараясь вредить Литве, казался готовым к миру и не объясняться отвергал случаев c Королем ИХ взаимных неудовольствиях». Мы знаем также, что во все это время Казимир был занят делами прусскими, богемскими и венгерскими, а потом был лишен средств действовать так, как бы ему хотелось, вследствие отношений своих к сеймам и вследствие отношений Литвы к Польше. Выбор существенных черт из дипломатических сношений Иоанна с Казимиром вообще сделан удачно. Известно, что в сношениях Иоанна с сыном Казимировым Александром одним из самых важных спорных пунктов был титул Иоаннов — «государя всея Руси», которого не хотел уступить Александр. О начале спора по этому предмету автор говорит так при известии о посольстве Загряжского в Литву: «В верющей грамоте, данной Загряжскому, Иоанн по своему обыкновению назвал себя Государем всей России».

Здесь выражение: «по своему обыкновению» — может смутить читателя: действительно, во внутренних грамотах титул всея Руси употреблялся уже давно великими князьями Московскими; но в сношениях с Литовским двором он был здесь употреблен впервые

Иоанном. Как хорошо автор понимал обязанность историка передавать читателям своим речи действующих лиц, всего лучше видно из речи Иоанна III послам литовским, приехавшим за дочерью его Еленою: «Государь ваш, брат и зять мой, восхотел прочной любви и дружбы с нами: да будет! Отдаем за него дочь свою. Он должен помнить условие, скрепленное его печатию, чтобы дочь наша не переменяла закона ни в каком случае, ни принужденно, ни собственною волею. Скажите ему от нас, чтобы он дозволил ей иметь придворную церковь Греческую. Скажите, да любит жену, как Закон Божественный повелевает, и да веселится сердце родителя счастием супругов! Скажите от нас Епископу и Панам вашей Думы Государственной, чтобы они утверждали Великого Князя Александра в любви к его супруге и в дружбе с нами. Всевышний да благословит сей союз!» В подлиннике эта речь читается так: «И вы от нас молвите брату и зятю нашему, великому князю Александру: на чем наш молвил и лист свой дал, на том бы и стоял, чтобы нашей дочери никоторыми делы к римскому закону не нудил; а и похочет наша дочи приступити к римскому закону, и мы своей дочери на то воли не даем, а князь бы великий Александр на то ей воли не давал же, чтобы меж нас про то любовь и прочная дружба не нарушилася. Да молвите от нас: как оже даст Бог наша дочи будет за ним и он бы нашу дочерь, а свою великую княгиню жаловал, держал бы ее так, как Бог указал мужем жены держати, а мы бы, слышечи на своей дочери его жалованье, были о том веселы. Чтобы учинил нас деля, велел бы нашей дочери поставити церковь нашего греческого закона, на переходех у своего двора, у ее хором, чтобы ей близко к церкви ходити, а его бы жалованье в нашей дочери нам добре слышети. Да молвите от нас бискупу, да и панам вашей братьи, всей раде, да и сами того поберегите, чтобы брат наш и зять нашу дочерь жаловал, а межи бы нас братство и любовь и прочная дружба не нарушилась доколеи даст Бог».

Встреча великой княгини Елены с женихом Александром Литовским описывается у Карамзина так: «Александр выслал знатнейших чиновников приветствовать Елену на пути и сам встретил ее за три версты от Вильны, окруженный Двором и всеми Думными Панами. Невеста и жених, ступив на разостланное алое сукно и золотую камку, подали руку друг другу, сказали несколько ласковых слов и вместе въехали в столицу, он на коне, она в санях, богато

украшенных». В источниках это описание читается так: «И князь великий великую княжну встретил до города за три версты, да тут на жеребце стал и тапкана (экипаж Еленин) стала же, и тут от великого князя послали к тапкане поставь сукна чермного, а у тапканы послали по сукну великого же князя камку бурскую з золотом, и великая княжна из тапканы на камку вышла, а за нею боярыни вышли же, а Князь Великий на сукно с жребца сшел, да по сукну к великой княжне пошел, да великой княжне дал руку, да и к себе ее принял, да и о здоровье испросил, да великой княжне велел опять пойти в тапкану, а боярыням, княгине Марьи, да Русалкине жене, руку дал же, а сам князь великий на жеребца пошел».

О наказе, полученном Еленой от отца, автор говорит: «Иоанн не забыл ничего в своих предписаниях, назначая даже, как Елене одеваться в пути, где и в каких церквах петь молебны, кого видеть, с кем обедать и проч.». В этом и прочем мы находим любопытные известия об обычаях того времени и о некоторых политических отношениях: так, например, если какой-нибудь пан даст обед для Елены, то жене его быть на обеде, а самому ему не быть; Елена не должна была допускать к себе князей, выходцев московских — Шемячича и других, если б захотели ей челом ударить.

Описывая новые неудовольствия, возникшие между Москвою и неудовольствия говорит: «Все Александровы Литвою, автор происходили, кажется, от того, что он жалел о городах, уступленных им России, и с прискорбием оставлял Елену Греческою Христианкою. Иоанн не отнял ничего нового у Литвы после заключения договора; видя же упрямство, несправедливость и грубость зятя, брал свои меры». Из источников оказывается, что дело шло о Торопецких волостях, захваченных боярином Иваном Васильевым, и других порубежных землях и водах. Через посла своего Зенка в 1497 году Александр говорил: «Слали есмо до тебя о тых же наших обидных делех и о поправлению границ старых подле докончания, абы еси земли и вод наших велел поступитися».

Мы видели уже, как автор выставил значение Иоанна III в начале рассказа о его княжении; в заключение рассказа он повторяет и распространяет прежде высказанные положения: «Иоанн III принадлежит к числу весьма немногих Государей, избираемых Провидением решить надолго судьбу народов: он есть Герой не только

Российской, но и Всемирной Истории... Россия около трех веков находилась вне круга Европейской политической деятельности, не участвуя в важных изменениях гражданской жизни народов. Хотя ничего не делается вдруг; хотя достохвальные усилия Князей Московских, от Калиты до Василия Темного, многое приготовили для Единовластия и нашего внутреннего могущества: но Россия при Иоанне III как бы вышла из сумрака теней, где еще не имела ни твердого образа, ни полного бытия Государственного. Благотворная была хитростью умного слуги Ханского. хитрость Калиты Великодушный Димитрий победил Мамая, но видел пепел столицы и раболепствовал Тохтамышу. Донского, действуя Сын необыкновенным благоразумием, соблюл единственно Москвы, невольно уступил Смоленск и другие наши области Витовту и еще искал милости в Ханах; а внук не мог противиться горсти хищников Татарских, испил всю чашу стыда и горести на престоле, униженном его слабостию, и был пленником в Казани, невольником в самой Москве; хотя и смирил наконец внутренних врагов, но восстановлением Уделов подвергнул Великое Княжество новым опасностям междоусобия. Орда с Литвою, как две ужасные тени, заслоняли от нас мир и были единственным политическим горизонтом России, слабой, ибо она еще не ведала сил, в ее недрах сокровенных. Иоанн, рожденный и воспитанный данником степной Орды, подобно нынешним Киргизским, сделался одним из знаменитых Государей в Европе, чтимый, ласкаемый от Рима до Царягряда, Вены и Копенгагена, не уступая первенства ни Императорам, ни гордым Султанам; без учения, без наставлений, руководствуемый только природным умом, дал себе мудрые правила в Политике внешней и внутренней; силою и хитростию восстановляя свободу и целость России, губя царство Батыево, тесня, обрывая Литву, сокрушая вольность Новгородскую, захватывая Уделы, расширяя владения Московские до пустыней Сибирских и Норвежской Лапландии, благоразумнейшую, дальновидной умеренности изобрел на основанную для нас систему войны и мира, которой его преемники долженствовали единственно следовать постоянно, чтобы утвердить величие Государства. Бракосочетанием с Софиею обратил на себя внимание Держав, раздрав завесу между Европою и нами; с любопытством обозревая Престолы и Царства, не хотел мешаться в

дела чужие; принимал союзы, но с условием ясной пользы для России; искал орудий для собственных замыслов и не служил никому орудием, действуя всегда, как свойственно великому, хитрому Монарху, не имеющему никаких страстей в Политике, кроме добродетельной любви к прочному благу своего народа».

На этой в высшей степени замечательной статье мы должны необходимо остановиться, потому что в ней автор дает читателю много средств для правильной оценки знаменитого княжения Иоанна III.

Вполне справедливо мнение автора, что Иоанн был избран Провидением, чтобы решить надолго судьбу народа русского. Действительно, если бы в это важное время, в половине XV века, на престоле Московском явился государь, не столько способный, как Иоанн III, воспользоваться приготовленными от предшественников необыкновенно благоприятными средствами И обстоятельствами, и когда нужно было дать последний удар некоторым упрочения обветшалым явлениям ДЛЯ нового высшего судьба устройства, TO государственного ЮНОГО Московского государства была бы иная. Вполне справедливо замечает автор, что ничего не делается вдруг и что предшествовавшие Иоанну князья Московские, начиная с Калиты, многое приготовили для единовластия внутреннего Россия, могущества России; «но Карамзин, — при Иоанне III как бы вышла из сумрака теней». Действительно, Московское государство пред княжением Иоанна можно сравнить с памятником, который был приготовлен, но еще не был открыт; Иоанну суждено было снять полотно, закрывавшее памятник.

В приведенном рассуждении автор очень верно описывает подвиги предшественников Иоанновых; препятствия, с которыми они должны были бороться. Благодаря этому описанию читателю легко сравнить положение Иоанна и его предшественников и определить их значение. Великодушный Димитрий Донской победил Мамая, но видел пепел столицы и раболепствовал Тохтамышу, тогда как при Иоанне III Волжская Орда была уже так слаба, что Ахмат без битвы бежал от Угры; и когда он был убит Иваном, то сыновья его уже не могли снова усилиться и грозить Москве, подобно Тохтамышу. Сын Донского, действуя с необыкновенным благоразумием, соблюл единственно целость Москвы, ибо имел соперником могущественного Витовта,

тогда как Иоанн, действуя с таким же благоразумием, но имея соперниками слабых Казимира и Александра, мог присоединить к Москве от Литвы обширные области. Отец Иоанна Василий Васильевич был занят последнею ожесточенною усобицей, наконец, успел победить всех внутренних врагов, соединить почти все уделы, ослабить окончательно Новгород, и если оставил уделы младшим сыновьям, то так же распорядился и сам Иоанн; но у последнего не было соперников ни в дяде, ни в двоюродных братьях; родные доставляли ему мало беспокойства, ибо вследствие распоряжений Василия Темного не имели средств противиться старшему брату, и потому Иоанн, спокойный внутри, имел всю возможность заниматься делами внешними и распространить границы своих владений. Одним словом, мы не можем не повторить вполне справедливого отзыва, сделанного нашим автором о предшественниках Иоанновых в первой главе пятого тома, где он говорит, что Мамаево побоище «доказало возрождение сил России и в несомнительной связи действий с причинами отдаленными служило основанием успехов Иоанна III, совершить которому судьба назначила предков, менее дело счастливых, но равно великих».

По словам автора, до Иоанна III Орда с Литвою, как две ужасные тени, заслоняли от нас мир и были единственным политическим горизонтом России, слабой, ибо она еще не ведала сил, в ее недрах сокровенных. При Иоанне III, собственно говоря, горизонт оставался тот же самый, ибо все внимание великого князя было обращено на Литву и на Орду в ее подразделениях, на Орду Волжскую, на Казань и Крым. Правда, начались было сношения с Австрийским двором, но скоро и прекратились без всякого результата, ибо государи увидали, что у них нет общих интересов; сношения с Даниею не имели больших результатов; только сношения с государствами итальянскими принесли пользу, ибо оттуда послы наши привозили художников; сношений со Швециею нельзя считать новыми, ибо новгородцы и прежде сносились с этою державою; сношения с Турциею сменили прежние сношения с Грециею, но ограничились одними торговыми интересами. Карамзин прекрасно определил положение Иоанна относительно государств европейских, кроме соседних: «С любопытством обозревая Престолы и Царства, не хотел мешаться в дела чужие». Действительно, роль Иоанна ограничивалась только обозрением престолов и царств, разумеется не всех, потому что Испания, Франция и Англия оставались вне политического горизонта; Иоанн не хотел мешаться в дела чужие, ибо дела всех других государств, кроме соседних — Литвы, немцев Ливонских, Швеции, Орды, — были для нас делами чуждыми.

«Совершая сие великое дело, — продолжает Карамзин, — Иоанн преимущественно занимался устроением войска. Летописцы говорят с удивлением о сильных его полках. Он первый, кажется, начал давать земли, или поместья, Боярским Детям, обязанным, в случае войны, приводить с собою несколько вооруженных холопей или наемников, конных или пеших, соразмерно доходам поместья (от сего умножилось число ратников); принимал в службу и многих Литовских, Немецких пленников, волею и неволею: сии иноземцы жили за Москвою-рекою в особенной слободе. С сего времени также начинаются Разряды, которые дают нам ясное понятие о внутреннем образовании войска, состоявшего обыкновенно из пяти так называемых полков: Большого, Передового, Правого, Левого и Сторожевого, или Запасного. Каждый имел своего Воеводу, но предводитель Большого Полку был главным». Действительно, как видно из летописи, число войск московских при Иоанне III значительно увеличилось; перемен же в устройстве войска не произошло никаких: обычай давать служилым людям села под условием службы и в награду за нее встречаем в Северной Руси еще во времена Иоанна Калиты. В его завещании читаем распоряжение относительно села Богородицкого, отданного Борису Воркову. «Если этот Ворков, — говорит великий князь, — будет служить которомунибудь из моих сыновей, то село останется за ним; если же перестанет служить детям моим, то село отнимут». По свидетельству ближайшего ко времени и достойнейшего вероятия писателя Герберштейна, особую слободу за Москвою-рекою для телохранителей своих построил великий князь Василий Иоаннович. Мы теперь знаем, что в некоторых рукописях разряды восходят даже до времен Димитрия Донского. Что при Иоанне III не было сделано перемен в строе русского войска, доказывают разряды его времени, в которых видим древнейшее разделение войска на полки: Большой, Передовой и т. д.

«Князья племени Рюрикова и Св. Владимира служили ему наровне с другими подданными и славились титлом Бояр, Дворецких, Окольничих, когда знаменитою, долговременною службою

приобретали оное. Василий Темный оставил сыну только четырех Великокняжеских Бояр, Дворецкого, Окольничего; Иоанн в 1480 году имел уже 19 Бояр и 9 Окольничих, а в 1495 и 1496 годах учредил сам Государственного Казначея, Постельничего, Ясельничего, Конюшего». Звание конюшего и казначея встречаем гораздо ранее; в завещаниях предшественников Иоанновых читаем: «А кто будет моих казначеев и тиунов» и т. д.; о конюшем упоминается в летописи еще под 1185 годом и после.

«Иоанн, как человек, не имел любезных свойств ни Мономаха, ни Донского, но стоит, как Государь, на высшей степени величия. Он казался иногда боязливым, нерешительным, ибо хотел действовать всегда осторожно. Сия осторожность есть вообще благоразумие: оно не пленяет нас подобно великодушной смелости; но успехами медленными, как бы неполными, дает своим творениям прочность. Что оставил миру Александр Македонский? — славу. Иоанн оставил Государство, удивительное пространством, сильное народами, еще сильнейшее духом правления, то, которое ныне с любовию и гордостию именуем нашим любезным отечеством. Россия Олегова, Владимирова, Ярославова погибла в нашествие Моголов; Россия нынешняя образована Иоанном, а великие Державы образуются не как тела минеральные, но механическим слеплением частей, превосходным умом Державных. Уже современники первых счастливых дел Иоанновых возвестили в Истории славу его: знаменитый летописец польский, Длугош, в 1480 году заключил свое творение хвалою сего неприятеля Казимирова. Немецкие, Шведские Историки шестаго-надесять века согласно приписали ему имя Великого; а новейшие замечают в нем разительное сходство с Петром Первым: оба, без сомнения, велики, но Иоанн, включив Россию в общую Государственную систему Европы и ревностно заимствуя Искусства образованных народов, не мыслил о введении новых обычаев, о перемене нравственного характера подданных; не видим также, чтобы пекся о просвещении умов Науками. Призывая художников для украшения столицы и для успехов воинского искусства, хотел единственно великолепия, силы; и другим иноземцам не заграждал пути в Россию, но единственно таким, которые могли служить ему орудием в делах посольских или торговых; любил изъявлять им только милость, как пристойно великому Монарху, к

чести, не к унижению собственного народа. Не здесь, но в Истории Петра можно исследовать, кто из сих двух Венценосцев поступил благоразумнее или согласнее с истинною пользою отечества».

Чрезвычайно важно и вполне справедливо здесь заключение автора, что великие державы образуются не механическим слеплением частей, как тела минеральные, но превосходным умом державным. Чтобы применить это положение к нашей истории, стоит только вспомнить сказанное автором прежде, что ничто не делается вдруг; что достохвальные успехи князей Московских — от Калиты до Василия Темного — многое приготовили для единовластия и нашего внутреннего могущества; что судьба назначила Иоанну III совершить дело предков, менее счастливых, но равно великих.

Соединив эти положения, вполне верные, получим положение, также вполне верное, что Россия образовалась не механическим слеплением частей, но превосходным умом целого ряда государей, в числе которых знаменитое место занимает Иоанн III, но не исключительно, и нельзя сказать, что Россия Олегова, Владимирова, Ярославова погибла от нашествия монголов, а Россия нынешняя образована Иоанном: ибо в таком случае какое же значение мы дадим деятельности предшественников Иоанновых, одинаково с ним великих? Какое значение дадим деятельности Иоанна Калиты, собирателя Земли Русской, Димитрия Донского — победителя Мамаева? Какое дадим деятельности Ярослава значение возобновителем автор Всеволодовича, которого называет разрушенного великого княжения, деятельности сына его, Александра Невского? Что же касается до сравнения деятельности Иоанна III с деятельностию Петра Великого, то отношение между ними ясно: деятельность Иоанна к деятельности Петра относится как начало к концу: Иоанн, наследовавший Московское государство, почти уж собранное, спокойный, следовательно, внутри, первый имел досуг обратить взоры на государства Западной Европы и начал заимствовать оттуда плоды цивилизации, призывая художников для украшения столицы и для успехов воинского искусства. Преемники его все более и более усиливали эти средства; в XVII веке поняли, что от вызова иностранцев мало пользы; что нельзя оставлять науку и искусство монополиею иностранцев; что для преуспеяния и могущества России нужно, чтобы сами русские сравнялись в знании и в искусстве с ними:

и вот уже царь Михаил Феодорович вызывает иностранцев, с тем чтобы они учили русских тому, что сами знают, а Петр Великий употребляет для этого решительные, окончательные меры.

«Он (Иоанн) умножил Государственные доходы приобретением новых областей и лучшим порядком в собирании дани, росписав земледельцев на сохи и каждого обложив известным количеством сельских хозяйственных произведений и деньгами, что записывалось в особенные книги». Совершенно справедливо, что государственные доходы умножились приобретением новых областей; что же касается до лучшего порядка в собирании дани, то росписание на сохи существовало гораздо прежде до Иоанна. Относительно торговли можно вполне согласиться с автором, что она должна была усилиться при Иоанне. Наконец, мы должны указать на обстоятельное и живое изложение законов Иоанновых.

Приступая изображению государствования К преемника Иоаннова, Василия, Карамзин определяет так характер нового «Государствование Василия князя: казалось великого только Иоаннова. Будучи подобно продолжением ОТЦУ ревнителем Самодержавия, твердым, непреклонным, хотя и менее строгим, он следовал тем же правилам в Политике внешней и внутренней, решал важные дела в Совете Бояр, учеников и сподвижников Йоанновых, их мнением утверждая собственное, являл скромность в действиях Монархической власти, но умел повелевать; любил выгоды мира, не страшась войны и не упуская случая к приобретениям, важным для Государственного могущества; менее славился воинским счастием; более опасною для врагов хитростию; не унизил России, даже возвеличил оную, И после Иоанна казался достойным еше Самодержавия». В конце повествования о княжении Василия встречаем новый замечательный отзыв об этом государе: «Василий стоит с честию в памятниках нашей истории между двумя великими характерами, Иоанном III и IV, и не затмевается их сиянием для глаза наблюдателя; уступая им в редких природных дарованиях: первому в обширном, плодотворном уме государственном, второму — в силе душевной, в особенной живости разума и воображения, опасной без твердых правил добродетели, — он шел путем, указанным ему отца, мудростию устранялся, двигался вперед не размеренными благоразумием, без порывов страсти, и приближался к цели, к величию России, не оставив преемникам ни обязанности, ни славы исправлять его ошибки; был не гением, но добрым Правителем; любил Государство более собственного великого имени и в сем отношении достоин истинной, вечной хвалы, которую немногие Венценосцы заслуживают. Иоанны III творят, Иоанны IV прославляют и нередко губят; Василии сохраняют, утверждают Державы и даются тем народам, коих долговременное бытие и целость угодны Провидению».

Прежде всего покажем отношение этого отзыва о Василии к отзыву о том же государе предшествовавшего историка князя Щербатова: «Что касается до обычая сего государя, то, хотя не обретаем мы в нем толь блистательных качеств, каковыми отличался его родитель и которыми отличался его сын, царь Иоанн Васильевич, однако, обретает в нем сие набожие несуеверное и на добродетели основанное, которое есть основание твердых правил мудрого правительства; сию мудрость, не спешащую делами и жертвующую иногда тщетную славу для пользы Государства; сию твердость в следствии дел, могущую довести до конца труднейшие предприятия. Он всегда старался отбегать от войны, почитая ее всегда вредною государствам, а паче по тогдашним обстоятельствам России; однако, в случае справедливого защищения себя, никогда от нее не убегал; но твердо показывал, что он готов ее со всею бодростию производить» и проч.

Если от этих отзывов о характере и деятельности Василиевой мы обратимся к отзывам современников о знаменитом сыне Иоанна и Софии, то найдем, что, по отзыву боярина Берсеня, Василий был гораздо строжайшим ревнителем государственного начала, чем отец его Иоанн III; этот отзыв подтверждается Герберштейном, по словам которого Иоанн был начинателем, а Василий совершителем дела. Что же касается до сравнения Василия с отцом его в других отношениях, то с уверенностью можно сказать только, что он менее славился воинским счастием, чем отец, как справедливо заметил Карамзин.

В начале княжения Василия встречаем со стороны его смелую попытку, которую автор оценяет весьма справедливо: «В августе 1506 года Король Александр умер: Великий Князь немедленно послал чиновника Наумова с утешительною грамотою ко вдовствующей Елене; но в тайном наказе предписал ему объявить сестре, что она

может прославить себя великим делом, именно соединением Литвы, Польши и России, ежели убедит своих панов избрать его в Короли; что разноверие не есть истинное препятствие; что он дает клятву покровительствовать Римский Закон, будет отцом народа и сделает ему более добра, нежели Государь единоверный. Наумов должен был сказать то же Виленскому Епископу Войтеху, Пану Николаю Радзивиллу и всем думным Вельможам. Мысль смелая и по тогдашним обстоятельствам удивительная, внушенная не только властолюбием Монарха-юноши, но и проницанием необыкновенным. Литва и Россия не могли действительно примириться иначе, как составив одну Державу; Василий без наставления долговременных опытов, без примера, умом своим постиг сию важную для них обеих истину; и если бы его желание исполнилось, то Север Европы имел бы другую историю. Василий хотел отвратить бедствия двух народов, которые в течение трех следующих веков резались между собою, споря о древних и новых границах. Эта кровопролитная тяжба могла прекратиться только гибелью одного из них; повинуясь Государю общему, в духе братства, они сделались бы мирными властелинами полунощной Европы». Что же касается до изложения наказа, данного Наумову, то в источниках этот наказ читается так: «Приказал (Василий) сестре, чтоб она похотела и говорила б бискупу и панам и всей раде и земским людям, чтоб похотели его государства и служити б похотели, а нечто учнут опасатца за верою, и государь их в том ни в чем не нарушит, как было при короле, а жаловать хочет и свыше того. Ко князю Войтеху, бискупу виленскому, пану Николаю Радзивиллу и ко всей раде приказывал о том же, чтоб они похотели его на Государство Литовское». Как здесь, так и во всех сношениях мы видим, что дело идет о государстве Литовском, которое признается отдельным.

И при Василии Иоанновиче вместе с делами литовскими на первом плане стоят дела крымские. При жизни старика Менгли-Гирея начинались неудовольствия, но явного разрыва еще не было. Автор говорит, что Менгли-Гирей всего более желал, чтобы государь позволил пасынку его Абдыл-Летифу, сверженному царю Казанскому, ехать в Тавриду для свидания с матерью; Василий не согласился на это, но дал Летифу вольность, город (Юрьев) и заключил с ним условия. «Они состояли в том, чтоб Летиф клятвенно обязался верно

служить России, не выезжать самовольно из ее пределов, не имел сношения с Литвою, ни с другими нашими врагами». Эта договорная грамота Летифа с великим князем вся очень замечательна, ибо показывает положение служилых татарских царевичей, число которых не ограничивалось в то время одним Летифом. Грамота Летифа как владельца юрьевского вообще похожа на договоры удельных князей с великими; между прочим в ней читаем.

«Куда пойду с тобою, — говорит Летиф, — на твое дело, или куда меня пошлешь на свое дело с своею братиею или с своими людьми, или куда одного меня пошлешь на свое дело, и мне, и моим уланам, и князьям, и козакам нашим, ходя по вашим землям, не брать и не грабить своею рукою ничего, над христианами никаких насилий не делать; не захватывать и не грабить послов и гостей, также русских пленников, которые побегут из Орды. Что у вас, великих князей, Янайцаревич в городке Мещерском и Ших-Авлиар-царевич в Сурожике, то мне, Летифу, им зла не мыслить, их уланов, князя и Козаков не принимать, если бы даже которые Уланы, Князья и Козаки ушли от них в Орду, в Казань или в другую какую-нибудь страну и захотели бы оттуда ко мне, то мне их также не принимать. Также мне от тебя, великого князя, татар не принимать, и тебе от меня людей не принимать, кроме Ширипова рода да Баарыкова, да Аргинова, да Кипчакова».

Кроме требования относительно Летифа автор подробно говорит и о других требованиях Менгли-Гиреевых: «Менгли-Гирей убеждал Василия послать судовую рать с пушками для усмирения Астрахани; обещал всеми силами действовать против Сигизмунда; просил ловчих птиц, соболей, рыбьих зубов, лат и серебряной чары; требовал какойто дани, платимой ему Князьями Одоевскими». Для нас в источниках особенно важны те известия, из которых всего яснее можно видеть характер Крымской Орды и, следовательно, характер ее отношений к Московскому государству. Так, например, Менгли-Гирей писал великому князю Василию: «Брат мой и князь великий Ямгурчай-Салтану опричь десяти портище соболье да 2000 белки, да 300 горностаев не убавливая посыловал, а нынеча от тебя Василий Морозов не привез так... От моих мурз и от князей 20 тех осталися, которым пошлина не достава, и ты б им прислал по сукну, а только им

не пришлешь, и они молвят — шерть с нас долов, да много нам о том учнут докучати, и нам бы докуки не было».

Мы должны здесь ограничиться только некоторыми указаниями на отношение рассказа историографа к известиям источников, еще не изданных, ибо не можем останавливаться на всех подробностях повествования в делах Василиевых, спеша к тем любопытным временам, взгляд автора на которые отличается более замечательными особенностями. Но мы не можем не остановиться несколько на четвертой главе VII тома, в которой излагается состояние России при Иоанне III и Василии Иоанновиче.

«В сие время, — говорит автор, — отечество наше было как бы новым светом, открытым Царевною Софиею для знатнейших Европейских Держав. Вслед за нею Послы и путешественники являлись в Москву, с любопытством наблюдали физические и нравственные свойства земли, обычаи Двора и народа; записывали свои примечания и выдавали оные в книгах, так что уже в первой половине XVI века состояние и самая древняя история России были известны в Германии и в Италии. Контарини, Павел Иовий, Франциск да-Колло, в особенности Герберштейн старались дать современникам ясное, удовлетворительное понятие о сей новой Державе, которая вдруг обратила на себя внимание их отечества». Этими словами автор указывает на четыре источника, которыми он преимущественно пользовался при изображении России Иоанновой и Василиевой; вся эта четвертая глава VII тома есть не иное что, как прекрасное извлечение из Герберштейновой книги с дополнениями известий из трех других поименованных иностранцев и немногих известий из русских источников.

Мы видели, какое важное влияние уступил автор татарам; он остается верен своему взгляду и, упоминая о жестоких пытках и Герберштейном, описываемых Иовием И «Обыкновение ужасное, данное нам Татарским игом вместе с кнутом и всеми телесными, мучительными казнями». Мы видим, однако, в то же время и у народов, не знавших татар, у народов Западной Европы, не казни. Торговля жестокие пытки И описывается Герберштейну, и говорится, что она была в цветущем состоянии. Известия иностранные Герберштейна и других путешественников можно было бы дополнить русскими известиями из статейных списков, преимущественно литовских и крымских, из которых можем узнать, какими правами пользовались купцы того или другого народа в московских владениях, из каких городов русские купцы ездили за границу, в какие именно места ездили они и с какими товарами, каким образом производили торговлю, какие пошлины платили, каким притеснениям подвергались; приняв в соображение последние известия, можно уже с большею уверенностью заключить, в цветущем или не цветущем состоянии находилась торговля в описываемое время.

Автор обратил внимание на любопытный вопрос о земельном владении и высказал положение, что «Князья, Бояре, воины и купцы искони владели землями. Всякая область принадлежала городу; все ее земли считались как бы законною собственностию его жителей, древних господ России, купивших, вероятно, сие право мечом в такое время, до коего не восходят ни летописи, ни предания».

Говоря о нравах и обычаях, автор приводит свидетельство Павла Иовия, что русские не любят католиков, а евреями гнушаются и не дозволяют им въезжать в Россию; но из статейных литовских списков мы узнаем, что запрещение жидам въезжать в Московское государство последовало только в царствование Иоанна IV. Наконец, приведем из рассматриваемой главы вполне справедливый отзыв состоянии художеств в Московском государстве при Иоанне III и сыне его Василии: «Кроме зодчих, денежников, литейщиков находились у нас тогда и другие иноземные художники и ремесленники. Толмач Димитрий Герасимов, будучи в Риме, показывал Историку Иовию портрет Великого Князя Василия, писанный, без сомнения, не Русским живописцем. Герберштейн упоминает о Немецком слесаре в Москве, женатом на Россиянке. Искусства Европейские с удивительною легкостию переселялись к нам: ибо Иоанн и Василий, по внушению истинно великого ума, деятельно старались присвоить оные России, не имея ни предрассудков суеверия, ни боязливости, ни упрямства, и мы, послушные воле Государей, рано выучились уважать сии плоды гражданского образования, собственность не вер и не языков, а человечества; мы хвалилисьисключительным Православием и любили святыню древних нравов, но в то же время отдавали справедливость разуму, художеству Западных Европейцев, которые находили в Москве гостеприимство, мирную жизнь, избыток. Одним словом, Россия и в XVI веке следовала правилу: "Хорошее от всякого хорошо" — и никогда не была вторым Китаем в отношении к иноземцам».

Таким образом, видим, что в XVI веке художества переселялись к нам, но не утверждались на русской почве, ибо художниками были одни иностранцы; в XVII веке явилось стремление утвердить науки и художества на русской почве, заставить самих русских людей заниматься ими, а в XVIII веке употреблены были для того решительные меры; таким образом, ясно становится для нас отношение Иоанна III и его преемников к Петру Великому, и мы не имеем нужды заниматься решением вопроса, кто из этих двух венценосцев — Иоанн III или Петр Великий — благоразумнее или согласнее с истинною пользою отечества: оба поступили благоразумно и согласно с истинною пользою отечества; один начал, а другой кончил. Вот почему мы заступились за достоинство деления русской истории, предложенного Карамзиным, за введение средней истории — от Иоанна III до Петра Великого.

## Глава VI

С восторгом приветствовал Карамзин времена Иоанна III, прельщавшие его рядом громких событий, достойных пера историка, избавлявшие его от мелких событий старины удельной, бессмысленных драк княжеских, по его выражению. Мы видели, как вследствие этого прельщения историк XIX века не только принял вполне мнения историков XVIII века о значении Иоанна III, но еще более увеличил это значение, не усомнился сравнивать деятельность Иоанна III с деятельностию Петра Великого, прямо отдавая преимущество первой. Еще с большим восторгом приветствовал он знаменитое царствование Иоанна IV, при описании которого талант его мог найти для себя обильную пищу, мог выказаться в полном блеске и образом довершить творение. «Оканчиваю Василия Ивановича, — писал Карамзин к Тургеневу, — и мысленно уже смотрю на Грозного: какой славный характер для исторической живописи! Жаль, если выдам Историю без сего любопытного царствования, тогда она будет, как павлин без хвоста»[15].

Но прежде описания славного характера для исторической живописи историку нужно было описать правление великой княгини Елены и правление боярское. Малолетство Иоанна IV принадлежит к которые любопытным эпохам, разрешаются В исторические вопросы, великие исторические борьбы. Северо-Восточная Русь объединилась: образовалось государство благодаря деятельности князей Московских; но около этих князей, ставших теперь государями всея Руси, собрались в виде слуг нового государства потомки князей великих и удельных, лишенных отчин своих потомками Калиты; вокруг великого князя Московского, представителя нового порядка вещей, находившего свой главный интерес в его утверждении и развитии, собрались люди, которые жили в прошедшем всеми лучшими воспоминаниями своими, которые не могли сочувствовать новому, которым самое их первенствующее положение среди служилых людей московских, самый их титул указывали на более блестящее положение, более высокое значение в недавней, очень хорошо всем известной старине. При таком сопоставлении двух начал, из которых одно стремилось к дальнейшему, полному развитию, а другое хотело удержать его при этом стремлении во имя старых исчезнувших отношений, необходимы были столкновения, которые и видим в княжение Иоанна III и сына его, — столкновения, которые выражаются в судьбе Патрикеевых, Ряполовских, Холмского, Берсеня.

Но вот великому князю Василию Иоанновичу наследует малолетний сын его Иоанн, который остается все еще малолетним и по смерти матери своей, правившей государством; в челе управления стремлениям сочувствовавшие становятся люди, не Московских: как же поступят теперь эти люди? Оправдают ли свое противоборство новому порядку вещей делами благими, делами пользы государственной? Уразумеют ли, что бессмысленно вызывать навсегда исчезнувшую старину, навсегда исчезнувшие отношения, что МОГУТ вызвать ОНИ ЭТИМ вызовом только тени, лишенные действительного существования? Сумеют ли признать необходимость нового порядка, но, не отказываясь при этом от старины, сумеют ли заключить сделку между старым и новым во благо, в укрепление государству? Сумеют ли показать, что от старины остались крепкие начала, которые, при искусном соединении с новым, могут упрочить благосостояние государства? Или эти люди не воспользуются благоприятным для себя временем, в стремлении к личным целям разрознят свои интересы с интересом государственным, не сумеют даже возвыситься до сознания сословного интереса и, потеряв сочувствие народонаселения, навлекут на себя страшную кару и дадут поведением своим законность, освящение новому порядку вещей, дадут ему возможность достигнуть полного развития?

Вот вопросы, которые должны были решиться в малолетство Иоанна IV. Оба историка — и кн. Щербатов, и Карамзин — в самом начале своего рассказа уже приготовляют читателя к смутам, волнениям, следствиям слабости правления в малолетство государя. Князь Щербатов говорит просто и коротко: «Малолетство великого князя и самое его рождение слабость правления предвещало». Но Карамзин старается ввести читателя В тоглашнее обшество московское, заставляет его подслушивать тогдашние толки, мнения, опасения: «Не только искренняя любовь к Василию производила общее сетование о безвременной кончине его, но и страх: что будет с

государством? волновал души. Никогда Россия не имела столь малолетнего властителя; никогда, если исключим древнюю, почти баснословную Ольгу, не видала своего кормила государственного в руках юной жены и чужеземки литовского, ненавистного рода. На троне не бывает предателей: опасались Елениной неопытности, естественных слабостей, пристрастия к Глинским, напоминало измену. Братья государевы и двадцать бояр знаменитых составляли верховную думу. Два человека казались важнее всех иных по их особенному влиянию на ум правительницы: старец Михаил честолюбивый, смелый, Глинский, ее дядя, самим Василием назначенный быть ее главным советником, и конюший боярин, князь Иван Федорович Овчина-Телепнев-Оболенский. Полагали, что сии два вельможи, в согласии между собою, будут законодателями думы, которая решала дела внешние именем Иоанна, а дела внутренние именем великого князя и его матери».

Все эти: опасались, полагали — были бы чрезвычайно важны, если бы хотя из одного слова источников можно было видеть, чего опасались, что полагали в Москве в 1533 и 1534 годах. Остановимся теперь на довольно важном положении, что дума решала дела внешние именем Иоанна, а дела внутренние — именем великого князя и его матери. До нас дошли грамоты по внутренним делам от времени правления Елены, но в них мы не находим имени последней при имени ее сына; в примечании к означенному положению Карамзин говорит: «Например, во всех бумагах дел внутренних писали: "повелением благоверного и христолюбивого великого князя государя Ивана Васильевича всея Руси и его матери, благочестивой царицы, великой государыни Елены" или "Князь великий и мать его великая княгиня, посоветовав о том с бояры, повелели". Цитируются два места из Синодальной летописи. Но большая разница между известием летописца о решении дела и между известием правительства о нем в грамоте; что форма: "повелением благоверного и христолюбивого великого князя и его матери, благочестивой царицы Елены" — есть летописная вольность и не могла употребляться в правительственных грамотах, доказательством служит выражение: благочестивой, царицы, ибо Елена не могла употреблять такого титула».

Чрез несколько дней по кончине великого князя Василия уже был заключен брат его, удельный князь Юрий Иванович. При описании

этого события Карамзин говорит: «Бояре, излишне осторожные, представили великой княгине, что если она хочет мирно управлять с сыном, то должна заключить Юрия, властолюбивого, приветливого, любимого многими людьми и весьма опасного для государя-младенца. Говорили, бояре хотели погубить Юрия что надежде своевольствовать ко вреду отечества; что другие родственники государевы должны ожидать такой же участи — и сии мысли, естественным образом, представляясь уму, сильно действовали не только на Юриева меньшого брата, Андрея, но и на племянников, князей Бельских. Князь Симеон Феодорович Вольский и знатный окольничий Иван Лятцкий, родом из Пруссии, муж опытный в делах воинских, готовили полки в Серпухове на случай войны с Литвою: недовольные правительством, они сказали себе, что Россия не есть их отечество, тайно снеслись с королем Сигизмундом и бежали в Литву».

Здесь историк хочет объяснить отъезд князя Бельского и воеводы Лятцкого в Литву и объясняет его слухами: «Говорили, что бояре хотели погубить Юрия в надежде своевольствовать; что другие родственники государевы должны ожидать такой же участи». Первая часть слуха основана на следующем месте одной летописи: «Диавол вложа им мысль сию, ведяше бо, аще не пойман будет князь Юрьи, не тако воля его совершится в граблении и в убийствах». Но летописец говорит только, что дьявол, зная, что следствием заточения князя Юрия будут грабежи и убийства, вложил боярам мысль заточить его, и нисколько не говорит, чтобы бояре, желая своевольствовать, именнос этою целью заключили князя Юрия, обычное у летописца объяснение дурного дела внушением дьявола выставлено как говор народный, обвиняющий бояр в намеренном преступлении для достижения своих корыстных целей. Но если историк позволил себе очень свободное толкование слов летописца, то еще большую вольность позволил он себе, придумав совершенно независимо от источников другой слух: «Говорили, что другие родственники государевы должны ждать такой же участи». Этого слуха нет вовсе в летописях; ясно, что историк внес его от себя для объяснения бегства князя Бельского; но этим средством цель достигается все же не вполне, ибо если читатель, поверив объяснению как основанному на источниках, успокоится относительно поступка князя Бельского, то поступок Лятцкого, не принадлежавшего

к родственникам государевым, останется без объяснения. Щербатов объясняет дело прямо от себя соперничеством между вельможами.

При описании внешних сношений в правление Елены, именно дел крымских, читаем: «Следствием литовского союза с ханом было то, что царевич Ислам восстал на Саин-Гирея за Россию, как пишут, вспомнив старую с нами дружбу; преклонил к себе вельмож, свергнул хана и начал господствовать под именем царя. Ислам, боясь турков, предложил тесный союз великому князю. Бояре московские, нетерпеливо желая воспользоваться таким добрым расположением нового хана, велели ехать князю Александру Стригину послом в Тавриду; сей чиновник своевольно остался в Новогородке и написал к великому князю, что Ислам обманывает нас: будучи единственно Калгою, именуется царем и недавно, в присутствии литовского посла Горностаевича, дал Сигизмунду клятву быть врагом России. Сие известие было несправедливо: Стригину объявили гнев государев и вместо него отправили князя Мещерского к Исламу». Здесь пропущено, неизвестно почему, очень любопытное известие о причине отказа князя Стригина ехать в Крым; Стригин вот что писал к великому князю: «Ныне Ислам к тебе к государю послал посольством Темеша, и того Темеша в Крыму не знают и имени ему не ведают, и в том Бог волен да ты государь: опалу ли или казнь на меня на своего холопа учинить, а мне противу того исламова посла Темеша не мочно идти!» Щербатов упомянул об этой отговорке князя Стригина.

События, последовавшие за смертию Елены, у обоих историков, у Щербатова и у Карамзина, описываются одинаково, иногда почти слово в слово; но потом рассказ Карамзина полнотою содержания начинает превосходить рассказ Щербатова, потому что последний не имел двух важных источников, которыми пользовался первый: Синодальной летописи под Љ 351<sup>[16]</sup> и Псковской летописи. Несмотря, однакож, на это большое количество важных источников, и Карамзин находился в одинаково затруднительном положении, зависящем от характера источников нашей древней истории вообще. Во время малолетства великого князя и по смерти матери его, правившей государством, на первом плане являются бояре, которые начинают борьбу между собою, смещают друг с друга. Источники говорят об этих борьбах, этих сменах, но очень неудовлетворительно. У Щербатова было много источников, благодаря которым он мог

подробно описать, какой когда гонец отправлялся в Крым, с чем присылали послов своих ногайские князья, и на каком дворе в Москве останавливались эти послы, и сколько с ними было лошадей; но эти источники не сказали ему, что князь Иван Шуйский был удален вследствие усиления стороны князя Ивана Бельского, который сделался правителем.

Карамзин нашел летопись, которая рассказала ему об этом; но как рассказала? Карамзин, например, не узнал из ее рассказа, куда девался князь Иван Шуйский после окончательного торжества своего над Бельским. Поразительно видеть, как летописцев мало занимали главные причины явлений, как привыкли они к обычным формам в своем рассказе! Например, драгоценный псковский летописец, который рассказывает нам о поведении областных наместников во время правления Шуйских, о переменах, происшедших в этом отношении при Бельском, ничего не знает или не хочет ничего знать ни о Шуйских, ни о Бельском. В Царственной книге встречаем следующий рассказ: «И велел князь великий у себя быти отцу своему Даниилу митрополиту всея Руссии и сказа отцу своему Даниилу митрополиту: много королевы неправды, что сам король на христианство воевод своих посылает, а Татар наводит и много от него кровь льется христианская; да и то сказал князь Василиймитрополиту, что хочет воевод своих послать с людьми королевы земли воевати против его неправды. Митрополит же рече великому князю: вы государи православные, пастыри христианству; тебе, государю, подобает христианство от насилия боронити; а нам и всему священному собору за тебя, государя, и за твое войско Бога молити».

Великому князю, разговаривавшему таким образом с митрополитом, было четыре года. В малолетство Димитрия Донского управляли также бояре: собирая здесь и там мимоходные упоминания о том или другом боярине в летописи, подмечая боярские имена в приписках к духовным грамотам великокняжеским, можно отыскать имена бояр, бывших в малолетство Димитрия, но только имена, не больше. О могущественных боярах, которые действовали на изменение политики московской в княжение Василия Димитриевича, мы узнаем из письма хана Едигея. При Иоанне III, при Василии Иоанновиче точно так же мы встречаем имена бояр только при описании походов. Теперь мы вследствие возмужалости науки,

вследствие возбуждения многих новых важных вопросов следим с напряженным вниманием 3a ЭТИМИ отрывочными, краткими известиями летописца о действующих лицах, приводим их в связь и достигаем любопытных результатов; но все это совершается с большими усилиями; большая разница, когда сами источники наводят историка на важные вопросы и тут же дают средство разрешить их полнотою, обилием подробностей о действующих лицах, живым их представлением или когда историк вследствие извне возбужденных вопросов должен с неимоверным усилием допрашивать молчаливые летописи. При этом надобно обращать также внимание на характер таланта в историке; талант Карамзина был именно такого рода, что требовал возбуждения от источников. Нам смешно теперь видеть, как у князя Щербатова из одного Сильвестра сделано два; но если мы войдем в положение Щербатова, впервые начавшего разбираться в источниках времен Иоанна IV, и если обратим внимание на характер этих источников, то подобная странность нам объяснится: в главных источниках, в летописях, о Сильвестре упомянуто один раз мимоходом, а у Курбского это лицо выставлено в полусвете, является таинственным, загадочным.

У Карамзина не найдем уже подобных странностей, во-первых, потому, что Карамзин шел по проложенной дороге, был второй деятель, разбиравшийся в тех же самых материалах; во-вторых, потому, что Карамзин был сильнее Щербатова талантом, не мог так теряться в известиях источников, как иногда терялся Щербатов. Несмотря на то, однако, и у Карамзина по вышеозначенному характеру источников мы не найдем не только сколько-нибудь целостного изображения характеров отдельных действующих лиц, но даже не найдем указаний на характеры, значение целых родов; например: при описании свадьбы царя Иоанна он говорит следующее: «Между тем знатные сановники, окольничие, дьяки объезжали Россию, чтоб видеть всех девиц благородных и представить лучших невест государю; он избрал из них юную Анастасию, дочь вдовы Захарьиной, которой муж, Роман Юрьевич, был окольничим, а свекор — боярином Иоанна III. Род их происходил от Андрея Кобылы, выехавшего к нам из Пруссии в XIV веке». Автор счел нужным только под 1547 годом сказать о происхождении Захарьиных-Юрьиных, причем указал только на первого известного прародителя и на ближайшего боярина Юрия

Захарьевича, тогда как читатель должен был давно уже быть знаком с этим знаменитым родом, одним из важнейших между боярскими родами Московского княжества, члены которого играли первую роль в княжение Василия Дмитриевича и потом не утратили своего важного значения, несмотря на приплыв княжеских фамилий, оттиравших старинные московские боярские роды от первых лет; в каждое княжение кто-нибудь из членов этого рода заставляет говорить о себе летопись; но летопись упоминает о них раз-два, кратко, мимоходом; эти известия записаны и у Карамзина, но не отдельно от других известий: они затерялись и для автора, и для читателя, и целый род, имеющий особенное любопытное значение, потерял его.

То же должно заметить и о лице, которое выступает на главную сцену по кончине великой княгини Елены, именно о князе Василии Васильевиче Шуйском. «Князь Василий Васильевич, — говорит Карамзин, — занимал первое место в совете при отце Иоанновом, занимал оное и при Елене и тем более ненавидел ее временщика (князя Телепнева-Оболенского), который, уступая ему наружную честь, исключительно господствовал над думою. Изготовив средства успеха, преклонив к себе многих бояр и чиновников, сей властолюбивый князь жестоким действием самовольства и насилия объявил себя главою правления; в седьмой день по кончине Елениной велел схватить любезнейших юному Иоанну особ: его надзирательницу, боярыню Агриппину, и брата ее, князя Телепнева, оковать цепями, заключить в темницу, несмотря на слезы, на вопль державного отрока».

Здесь о прежней деятельности князя Шуйского говорится только, что он занимал первое место в думе при отце Иоанновом и при матери; но в летописи есть известие о Шуйском, которое говорит нам гораздо более о нем, чем известие о первом месте в думе; это известие, поставленное на место последнего, приготовило бы читателя, дало бы ему знать, каких поступков он должен ждать от Шуйского, человека, способного действовать решительно, быстро, предупреждать других и действовать в то же время круто; это известие помещено и у Карамзина под 1514 годом в описании княжения Василия Иоанновича, после рассказа об Оршинской битве: «С первою вестию о нашем несчастии прискакали в Смоленск некоторые раненные в битве чиновники великокняжеские. Весь город пришел в волнение. Многие тамошние бояре думали, подобно Сигизмунду, что Россия уже пала;

советовались между собою, с епископом Варсонофием и решились изменить государю. Епископ тайно послал к королю своего племянника с уверением, что если он немедленно пришлет войско, то Смоленск будет его. Но другие верные бояре донесли о сем умысле наместнику, князю Василию Шуйскому, который, едва успев взять изменников и самого епископа под стражу, увидел знамена литовские: сам Константин (Острожский) с шестью тысячами отборных воинов явился пред городскими стенами. Тут Шуйский изумил его и жителей зрелищем ужасным: велел на стене, в глазах Литвы, повесить всех заговорщиков, кроме святителя, надев на них собольи шубы, бархат, камки, а другим привязал к шее серебряные ковши или чарки, пожалованные им от великого князя». Так вот этот Шуйский, поступивший так решительно в первое время по смерти Елены, вот Шуйский, который поступает и после так же решительно со своими врагами!

Князя Василия Шуйского вменил в правлении брат его Иван, о котором Карамзин говорит так: «Князь Иван Шуйский не оказывал в делах ни ума государственного, ни любви к добру; был единственно грубым самолюбцем; хотел только помощников; но не терпел совместников; повелевал в думе как деспот, и в дворце как хозяин, и величался до нахальства; например, никогда не стоял пред юным Иоанном, садился у него в спальне, опирался локтем о постелю, клал ноги на кресло государево; одним словом, изъявлял всю низкую, малодушную спесь раба-господина. Упрекали Шуйского и в гнусном корыстолюбии; писали, что он расхитил казну и наковал себе из ее золота множество сосудов, велев вырезать на них имена своих предков. По крайней мере его ближние, клевреты, угодники грабили без милосердия во всех областях, где давались им нажиточные места государственные. Владычество должности Шуйских ознаменовалось слабостию и робким малодушием в политике московской; бояре даже не смели ответствовать Саин-Гирею на его угрозы; спешили отправить в Тавриду знатного посла и купить союз варвара обязательством не воевать Казани; вероломный хвалились своим терпением пред ханом Саин-Гиреем, изъясняясь, что казанцы терзают Россию, а мы, в угодность ему, не двигаем ни волоса для защиты своей земли. Бояре хотели единственно мира и не имели его; заключили союз с ханом Саин-Гиреем и видели бесполезность

оного. Послы ханские были в Москве, а сын его Иминь с шайками своих разбойников грабил в Каширском уезде. Мы удовольствовались извинением, что Иминь не слушается отца и поступает самовольно».

Конечно, всякий, прочтя это описание поведения князя Шуйского, пожелает узнать, откуда взято оно. Оно взято из письма самого Иоанна к князю Курбскому: упрекали, писали относится к одному Иоанну. Но слова Иоанна переданы у автора неправильно, и вследствие этой неправильности скрыто особенно важное значение их; они читаются так: «Едино воспомяну; нам бо в юности детства играюще, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, локтем опершися отца нашего о постелю, ногу положив; к нам же не приклоняйся не токмо яко родительски, но еже властелински». В изложении Карамзина выпущены слова: отца нашего и прибавлено кресло, которого нет в подлиннике. Шуйский опирается локтем и клад ногу на постель отца Иоаннова, и этот поступок кроме нахальства имеет еще другое значение, особенно если мы приведем его в связь с известием о поступке Тучкова, находящимся в том же письме Иоанновом. Сношения Крымом правление Шуйских В представлены несправедливо. Еще в правление Елены вследствие единовластия, утвердившегося в Крыму, и угроз хана Саин-Гирея, имевшего теперь возможность действовать против Москвы, положено было, в угоду Саину, не начинать наступательных движений на Казань, а стараться дело мирными переговорами: Шуйские продолжали, кончить следовательно, поведение предшествовавшего правительства; но если, с одной стороны, Шуйские приводили в исполнение решение прежнего правительства, то, с другой — они не изменили ни в чем прежних отношений великого князя к хану в ущерб достоинству первого; так, когда в Москве увидели, что шертная грамота, присланная ханом, заключала в себе исчисление подарков, какие именно должно было отправлять в Крым, бояре не приняли этой грамоты, как не принимали подобных прежние великие князья: когда узнали о нападении Иминь-Салтана, то послов крымских отдали под стражу; все эти подробности опущены в рассказе историка.

Шуйские были отстранены от правления; их место заступили князь Бельский и митрополит Иоасаф: об этой перемене историк говорит так: «Сторона Вольских, одержав верх, начала господствовать

с умеренностью и благоразумием. Не было ни опал, ни гонений. Правительство стало попечительное, усерднее к общему благу.

Злоупотребления власти уменьшились. Сменили некоторых худых наместников, и псковитяне освободились от насилий князя Андрея Шуйского, отозванного в Москву. Дума сделала для них то же, что Василий сделал для новгородцев: возвратил им судное право. Целовальники, или присяжные, избираемые гражданами, начали судить все уголовные дела независимо от наместников». Учреждение великого князя Василия в Новгороде состояло в том, что с наместниками начал судить староста купецкий, а с тиунами целовальники; о перемене же, последовавшей в правление Бельского, псковский летописец говорит следующее: «Бысть жалование нашего Великого Князя Ивана Васильевича всея Руси до всей своей русской земли, млада возрастом 11 лет и старейша умом: до своей отчины милосердова, показа милость свою и нача жаловати, грамоты давати по всем гродом большим и по пригородом, и по волостем, лихих людей обыскивати самым крестьянам меж себя по крестному целованию, и их казнити смертною казнию, а не водя к наместником и к их тивуном лихих людей». Итак, в Новгороде выбраны были целовальники для суда с наместниками и тиунами, и не означено, для какого суда; в Пскове же уголовные дела отходили от наместников и тиунов и передавались в ведение самих обывателей, которые должны руководиться так называемыми губными грамотами. Следовательно, нельзя сказать, что для псковитян сделано было то же, что Василий сделал для новгородцев. Нельзя сказать также, чтобы это было сделано для одних псковитян, ибо летописец ясно говорит, что жалование государя было до всей Русской земли. Слова летописца многими губными грамотами, подтверждаются действительно относящимися к этому времени; но любопытно, что до нас дошли губные грамоты, данные прежде, в правление Шуйских, как, например, грамоты белозерцам и каргопольцам 1539 года. «Народ, говорит автор, — отдохнул в Пскове; славил милость Великого Князя и добродетель бояр». В летописи: «Начаша Псковичи за Государя Бога молити и Пречистую Богородицу и святых чудотворцев о его жалованьи до своея отчины, что показа милость до сирот своих» — и только! Нам понятно, почему автор прибавил: «и добродетель бояр» ему показалось странным, как летописец не упоминает ничего о

боярах, когда бояре управляли за малолетством великого князя; но именно то, что кажется нам странным в летописи, то мы и должны отличать и сохранять неизменным, как особенность века, общества, литературы.

Вольский был свергнут, умерщвлен Шуйскими, которые снова захватили в свои руки правление, наконец, тринадцатилетний Иоанн, выведенный из терпения поступками князя Андрея Михайловича Шуйского, оставшегося старшим в роде, велел умертвить его. «Варварская казнь, хотя и заслуженная недостойным вельможею, явила, что бедствия Шуйских не умудрили преемников их; что не закон и не справедливость, а только одна сторона над другою одержала верх, и насилие уступило насилию: ибо юный Иоанн, без сомнения, еще не мог властвовать сам: князья Глинские с друзьями повелевали его именем, хотя и сказано в некоторых летописях, что с того времени бояре начали иметь страх от государя. Опалы и жестокость нового действительно устрашили сердца. Сослали Федора правления Шуйского-Скопина, князя Юрия Темкина, Фому Головина и многих иных чиновников в отдаленные места, а знатного боярина Ивана Кубенского посадили в темницу; он находился в тесной связи с Шуйскими, но отличался достоинствами, умом, тихим нравом. Казнь, изобретенная варварством, была участию сановника придворного, Афанасия Бутурлина, обвиненного в дерзких словах: ему отрезали язык пред темницею в глазах народа. Чрез пять месяцев освободив Кубенского, Государь снова возложил на него опалу, также на князей Петра Шуйского, Горбатого, Димитрия Палецкого и на своего любимца боярина Федора Воронцова; простил их из уважения к ходатайству митрополита, но ненадолго. Летописцы свидетельствуют их невинность, укоряя Федора Воронцоваединственно тем, что он желал исключительного первенства между боярами и досадовал, когда Государь без его ведома оказывал другим милости».

Прочтя эти строки, читатель никак не может освободиться от мысли, что все описанное здесь случилось вдруг, непосредственно за казнью Андрея Шуйского, тогда как события эти совершались в течение трех лет! Читатель, чтобы уяснить себе дело, причины опал, должен, разумеется, прежде всего спросить: кто же были эти люди, подвергшиеся опалам? Не упоминаются ли имена их прежде в летописях, и если упоминаются, то при каких случаях? Два самых

вопиющих поступка, которые позволили себе Шуйские и сторонники их в малолетстве Иоанна, были: свержение и умерщвление князя Бельского и свержение митрополита Иоасафа, потом изгнание Воронцова. Кто же были главные сторонники Шуйских в обоих этих делах?

В первом: «Пойман бысть Великого Князя боярин, князь Иван Федорович Бельской, без Великого Князя ведома, советом боярским, его государь приближении того ради, что В держал и Митрополита Иосафа; первосоветниках, бояре да вознегодоваша на князя Ивана и на Митрополита и начаше зло советовати со своими советники; а со князем Иваном Васильевичем Шуйским обсылатися в Володимер. А князь Иван Шуйский тое же ночи пригонил из Володимери в Москву без Великого Князя веления, а наперед его припригонил сын его князь Петр; а в том совете быша бояря: Князь Михайло, да князь Иван Кубенские, Князь Дмитрий Палецкой». Об изгнании Воронцова говорится: «Великого князя бояря: Князь Иван и Князь Андрей Михайловичи Шуйские, да Князь Федор Иванович Шуйский, да советницы князья: Дмитрий Шкурлатов, да князь Иван Шемяка, да князь Иван Турунтай Пронские, да Алексей Басманов, и иные советницы взволноватеся между собою пред Великим Князем и пред Митрополитом, в столовой избе у Великого Князя на совете. Князь Андрей Шуйской, да Кубенской и Палецкой в том совете с ними были же, изымаша Федора Воронцова за то, что его Государь жалует и бережет; и биша его по ланитам, и платие на нем ободраша, и хотеша его убити. И посла к ним Государь Митрополита. И в кою пору от Государя Митрополит ходил к Шуйским, и в ту пору Фома Петров, сын Головина, у Митрополита на мантию наступил и мантию на Митрополите подрал».

Итак, вот где являются лица, подвергшиеся опале в продолжение трех лет после казни Андрея Шуйского: из них один только Кубенский подвергся смертной казни; другие после кратковременной опалы оставались с прежним значением, и вот когда после вспыхнуло возмущение и убит был родной дядя Великого князя по матери князь Глинский, виновниками дела летописец называет князя Фёдора Шуйского и князя Юрия Темкина, которые вначале как главные советники Андрея Шуйского подверглись заточению тотчас после его казни. Говоря об опалах, которым подверглись эти лица, об одном

только Кубенском автор говорит, что он находился в тесной связи с Шуйскими, но отличался постоянствами, умом, тихим нравом. Быть может, Кубенский и отличался умом; но, конечно, читателя поразит известие, что тихим нравом отличался человек, которого мы видим в числе главных действователей при насильственных движениях; читатель, конечно, поспешит узнать, откуда все это свидетельство о Кубенском? Оно взято из Курбского.

Сочинения князя Курбского принадлежат числу К драгоценнейших источников нашей древней истории. Один из самых талантливых вельмож московских и, конечно, самый образованный из них, достойный в этом отношении соперник Грозного, Курбский явился защитником старинных притязаний княжеских и дружинных; не имея возможности бороться с Иоанном другими средствами, он вступил с ним в литературную борьбу, вызвал его на оправдания своих поступков, оправдывая поступки свои и своей партии; с этою же целью, с целью оправдать себя и свою сторону и обвинить Иоанна, написал обзор его царствования. Сочинения Курбского драгоценны тем, что автор их в пылу страсти обнаруживает нам тайные мысли и чувства не только свои, но и целой партии, интересы которой он защищал, и чрез это указывает историку на такие отношения, которые бы без него остались навсегда тайною; но, с другой стороны, сочинения Курбского, как имеющие целью оправдать во всем одних и обвинить во всем других, тем самым чужды беспристрастия и не могут служить источником при определении характеров действующих лиц.

Драгоценнейший источник для истории царствования Иоанна IV, вскрывающий нам главные пружины действий, и в то же время самый подробностей относительно сочинения мутный источник Курбского, — разумеется, не могли быть оценены с первого раза как должно; и если Карамзин, пользуясь ими после Щербатова, не понял как следует их значения, то в оправдание его должно сказать, что и последующие ученые долго не могли понять его. У нас так мало были до сих пор знакомы с историческою литературою XVII века, что в 1842 году, во втором издании сочинений князя Курбского, мы встречаем следующие слова издателя: «До появления в свет IX тома Истории государства Российского, у нас признавали Иоанна Государем великим; видели в нем завоевателя трех царств и еще более мудрого, попечительного законодателя. Знали, что он был жестокосерд, но только по темным преданиям, и отчасти извиняли его во многих делах, считая их необходимыми для утверждения благодетельного самодержавия. Сам Петр Великий хотел оправдать его. Это мнение поколебал Карамзин».

Если бы издатель Курбского потрудился познакомиться с историею Щербатова, то, разумеется, сказал бы, что против этого мнения сильно вооружался и князь Щербатов; мы не скажем, впрочем, чтобы оно было впервые поколеблено последним, ибо самое желание Петра Великого оправдать Иоанна показывает нам, что была нужда в этом оправдании. Характер деятельности Иоанна IV, заключая в себе две противоположные стороны, был предметом спора как для ближайшего, так и для более отдаленного потомства. Ум человеческий не любит соединения противоположностей, и от этой нелюбви много страдалаи, к сожалению, еще до сих пор много страдает историческая наука; если известное историческое лицо одною стороною своей деятельности производит благоприятное впечатление, то нет недостатка в писателях, которые стараются показать, что это лицо во всех случаях жизни было образцом совершенства, или, наоборот: найдя в деятельности какогонибудь исторического лица темные пятна, стараются показать, что и во всех остальных его поступках нет ничего хорошего; а если что и есть хорошее, то принадлежит не ему, а другим. Большая часть писателей поступают в этом случае добросовестно, по убеждениям, не задавая себе вопроса: что станется с историею, если она наполнится деятелями или вполне хорошими, или вполне дурными? Так и при оценке характера Иоанна IV явились противоположные мнения: люди, пораженные величием и нравственною красотою некоторых его деяний, не хотели верить страшным известиям о его жестокостях или старались ослабить эти известия, оправдать самые поступки; другие, пораженные известиями жестокостях, не хотели наоборот, 0 признавать достоинства других поступков Грозного. В таком виде вопрос перешел к историкам, и первый должен был заняться им князь Щербатов, у которого между другими источниками были и сочинения Курбского.

Первый вопрос, представившийся Щербатову, был вопрос: верить или не верить известиям Курбского — потому что Курбский писал под влиянием сильной вражды к Иоанну. Имея в виду эту вражду, Щербатов не верит Курбскому, что Иоанн только вследствие клеветы

ласкателей своих, вдруг без всякого повода со стороны Сильвестра и Адашева с товарищи удалил их от себя и начал преследовать; Щербатов объясняет перемену в Иоанне другим образом, показывая, что в этой перемене виноваты были и те люди, которых постоянно защищает Курбский. Но, освободив себя от односторонности взгляда Курбского, пополнив то, чего недостает у последнего, Щербатов принимает все частные показания его как истинные; Щербатову нужно было знать только одно: по ненависти к Иоанну Курбский не приписывает ли ему лишних жестокостей?

Убедившись из сличения других источников, что Курбский не преувеличивает дела, Щербатов успокоился и пользовался всеми известиями Курбского как несомненно верными; характер же сочинения князя Курбского, главное достоинство его — указание на отношение деятельности Иоанна IV к деятельности отца и деда, матери и бабки, как понимал эти отношения Курбский с товарищи, остались тайною для Щербатова. Тайною остались они и для Карамзина: давая полную веру показаниям Курбского об Иоанне IV, он не хочет знать о его показаниях об Иоанне и сыне его Василии; не хочет знать о той связи, которою соединяется деятельность Иоанна IV с деятельностию отца и деда, которую показал Курбский, хотя с своей точки зрения, но показал, в чем и состоит его главное и, можно сказать, единственное достоинство. С другой стороны, принимая все известия Курбского о царствовании Иоанна IV, внеся их в текст своего рассказа, Карамзин, однако, не хочет принять основной мысли Курбского и таким образом допускает в своем рассказе противоречие, темноту, что делает рассказ неудовлетворительным; отношения Иоанна к Сильвестру и Адашеву описаны по Курбскому, и в то же время Иоанн везде является самостоятельным. Представив деятельность Иоанна везде самостоятельною, Карамзин при описании болезни царя говорит, однако, следующее: «С сего времени он (Иоанн) неприятным образом почувствовал свою от них (Сильвестра и Адашева) зависимость и находил иногда удовольствие не соглашаться с ними, делать по-своему».

Иногда же Карамзин, не желая опустить известия, сообщенного Курбским, и в то же время не желая выставить Иоанна несамостоятельным, переделывает известия Курбского, смягчает их, что, конечно, также не способствует удовлетворительности рассказа.

Например, при описании приступа к Казани у Карамзина читаем: «Казанцы воспользовались утомлением наших воинов, верных чести и доблести, ударили сильно и потеснили их, к ужасу грабителей, которые все немедленно обратились в бегство, метались через стену и вопили: секут! секут! Государь увидел сие общее смятение, изменился в лице и думал, что казанцы выгнали все наше войско из города». «С ним были, — пишет Курбский, — великие синклиты, мужи века отцев наших, поседевшие в добродетелях и в ратном искусстве: они дали совет государю, а государь явил великодушие: взял святую хоругвь и стал перед царскими воротами, чтобы удержать бегущих». У Курбского: «И зело ему не токмо лицо изменяшесь, но и сердце сокрушися. Видевше же сицевое, мудрые и искусные сигклитове его, повелеша хоруговь великую христианскую близу врат градских, нареченных царских, подвинути, и самого царя, хотяще и нехотяще, за бразды коня взяв, близ хоругови поставиша понеже были нецыи, между сигклиты оными, мужие веку еще отцев наших, состаревшиеся в добродетелях и во всяких искусствах ратных».

Мы сказали, что указание на связь деятельности Иоанна IV с деятельностию отца и деда составляет главное и, можно сказать, единственное достоинство сочинения Курбского. Не так думали Щербатов и Карамзин; не так думали ученые позднейшие, и потому мы не имеем никакого права оставить такого отзыва недоказанным. Издатель сочинений Курбского в 1842 году дал такой отзыв о достоинстве их:

«История Курбского замечательна не потому только, что она произведение пера современника, участвовавшего. делах государственных; она имеет высокие достоинства: с природною силою ума, с врожденным даром слова соединяя сведения разнообразные, Курбский постиг тайну исторического искусства, коего образцы имел, без сомнения, пред глазами, и оставил обыкновенную стезю летописцев. Доселе наши историки рассказывали происшествия без всякой связи, без малейшего единства внутреннего, в строгом хронологическом порядке; Курбский смотрел выше: стараясь объяснить причины Иоанновых поступков, добрых и злых, он имел цель определительную и устремлял к ней все свои мысли. (Эта мысль, что первая, блестящая половина царствования Иоанна не есть следствие самостоятельной деятельности его, но следствие советов

Сильвестра и Адашева с товарищи.) На сей мысли основано сочинение Курбского; она связывает все события и сообщает им то единство, без которого нет изящного. Руководствуясь ею, автор начертал две картины противоположные: в одной видим блеск и славу, видим ряд героев, завоевателей Казани, Астрахани, Ливонии, грозных мстителей за отечество; двадцатилетний государь ведет их к победам; со знаменем в руке останавливает бегущее войско под стенами Казани или смело, с малочисленною дружиною спешит встретить несметное войско татар крымских. В другой картине видим иное зрелище: тут являются уже скоморохи и человекоугодники, а храбрые синклиты выходят только на смерть позорную. Страшное слово "убиен" — паки погублен такой-то боярин, такой-то стратиг, убиен, паки беспрестанно повторяемое, наводит ужас на читателя. Прекрасное в целом, в плане, сочинение Курбского не менее замечательно и в подробностях: историк описывал не по слуху, а по собственным наблюдениям по крайней мере большую часть важнейших событий. Дела минувшие резко запечатлевались в его памяти, и ему стоило подобно Ксенофонту, нарисовать картину разнообразную. Не только в описании похода казанского, при всяком случае Курбский обнаруживает ум наблюдательный, познание сердца человеческого; когда он говорит о битвах, мы живо представляем ратное поле, движение войск, сечу; когда рассказывает о беседе царя с Вассианом, мы слышим шипение змеи. Как послушен ему язык русский! Как величественно его изображение доблестей и как язвительны его горькие укоризны! Смело можно сказать: редкий из наших писателей умел владеть так удачно сильным, величественным словом нашим».

Сочинение Курбского, по мнению издателя, прекрасно в целом, в плане, потому что построено на одной главной мысли; но верна ли эта главная мысль? Занявшись этим вопросом, издатель оставляет его нерешенным. Но посмотрим, по крайней мере, искусно ли Курбский провел свою основную мысль, не встречается ли при этом проведение несообразностей, противоречий, отнимающих доверенность у автора и, конечно, мешающих сочинению быть прекрасным в целом, в плане? Курбский приписывает перемену в поведении Иоанна тому, что отдалены были хорошие советники и приближены дурные; но вследствие чего же, когда произошло это удаление хороших и

приближение дурных советников? Курбский говорит, что произошло вследствие совета Вассиана Топоркова: «Такову искру безбожную всеял (Топорков), от него жево всей святой русской земле таков пожар лют возгорелся, о нем же свидетельствовать словесы много непотреба. Понеже делом сия прелютейшая злость произвелася, якова никогда же в нашем языце бывала, от тебя беды начала приемше, яко напреди нами плод твоих прелютых дел вкратце изъявите». Яко многое воинство, так бесчисленное множество всенародных человеков ни от кого прежде, только от тебя, Вассиана Топоркова, будучи наквашен, всех тех предреченных различными смертьми погубил (Иоанн). После этого мы ждем немедленно описания следствий совета Вассианова; но проходят года, и ничего подобного не видим; сам Курбский говорит: «Потом паки, аки бы в покаяние вниде, и не мало лет царствовал добре: ужаснулся бо о наказаниях оных от Бога, ово перекопским царем, ово казанским возмущением»; а потом, когда стал говорить об удалении Сильвестра и Адашева и начале казней, все это приписано ласкателям и клеветникам, которые уверили Иоанна, что жена его была отравлена Сильвестром и Адашевым, и Вассиан с его советом забыт.

Обратимся и к подробностям. На первых страницах рассказа Курбского находим описание дурного воспитания Иоаннова: лет двенадцати Иоанн уже привыкал проливать кровь животных — пестуны не останавливали его; будучи лет четырнадцати и больше, начал уже наносить вред людям — ласкатели хвалили его за это; когда приблизился к семнадцатому году, тогда «прегордые сигклитове начаша подущати его и мстити им свои недружбы, един против другого; и первее убиша мужа пресильного, зело храброго стратига и великородного, именем князь Иван Бельский. По мале же времени, он же сам повелел убити такожде благородное едино княже, именем Андрея Шуйского, из рода княжат суздальских».

Здесь говорится, что князь Иван Бельский был убит, когда Иоанн был шестнадцати лет; но это убийство последовало, когда Иоанн был двенадцати лет, то есть в 1542 году. Издатель хвалит Курбского за то, что он возвысился над предшествовавшими русскими историками (то есть летописцами), которые рассказывали происшествия без малейшего единства внутреннего, в строгом хронологическом порядке. Но что же было бы с нашею историею, если бы все летописцы

захотели смотреть так же высоко, как Курбский, и так бесцеремонно обращаться с хронологиею, относить к 1546 году событие, случившееся в 1542-м? В 1546 году Курбскому было восьмнадцать лет: как же он мог забыть, что случилось в это время? Но если забыл, то что же он за историк-очевидец; как можно сказать, что «дела минувшие резко запечатлелись в его памяти, и ему стоило только, подобно Ксенофонту, передать верно свои впечатления, нарисовать картину живую, разнообразную»? Неужели эта картина живая и разнообразная: «убил, по мале времени убил, а потом убил», без всякого изложения причин? Чтобы оценить Курбского, стоит только спросить: какое понятие имели бы мы о времени Иоанна IV, если бы, кроме Курбского, не дошло до нас никаких источников? Как, например, ловко умолчено о характере князя Андрея Шуйского: так как, по взгляду Курбского, все жертвы Иоанновы суть превосходные люди, герои добродетели, то читатели должны причислить и Андрея Шуйского к героям добродетели! А Кубенский назван мужем тихим! Но мы еще должны будем возвратиться к Курбскому.

После описания смут, имевших следствием казнь Кубенского и Воронцова, Карамзин приступает к описанию двух важных событий в жизни Иоанна: женитьбы и царского венчания, после которого он первый принял титул царя.

«Великому князю исполнилось семнадцать лет от рождения», говорит Карамзин, приступая к своему новому рассказу; это было в 1546 году; Иоанн родился в 1530 году, следовательно, в 1546 году ему было только шестнадцать, а не семнадцать лет. Согласно с летописями, автор выводит самого Иоанна объявляющим митрополиту решение свое венчаться царским венцом, затем тотчас же следует принятие царского титула. Здесь, разумеется, всякого остановит это любопытное явление: то, чего не решались сделать возрастные отец и дед, на то решился шестнадцатилетний Иоанн! Автор, не входя в решение вопроса, мог ли Иоанн сам по себе принять такое решение или нет, намекает, что оно было внушено ему другими: «Он (Иоанн) велел митрополиту и боярам готовиться к сему великому торжеству, как бы утверждающему печатию веры святой союз между государем и народом. Оно было не новое для Московской державы: Иоанн III венчал своего внука на царство (однако ни дед, ни внук не принимали царского титула); но советники великого князя, желая или дать более важности сему обряду, или удалить от мыслей горестное воспоминание о судьбе Димитрия Иоанновича, говорили единственно о древнейшем примере Владимира Мономаха». Затем следует описание перемены, происшедшей в характере Иоанна вследствие приближения Сильвестра и Адашева: мы уже видели отношение этого описания к сочинению Курбского, и потому нам остается взглянуть на отношение к этому сочинению рассказа нашего автора о вторичной перемене характера Иоаннова вследствие удаления Сильвестра и Адашева.

Карамзин, подобно Щербатову, отступает от Курбского в том, что не ставит главною причиною перемены в Иоанне совет Вассиана Топоркова; но, согласно с некоторыми летописями, указывает эту причину в событиях, происходивших во время болезни Иоанновой: «Иоанн родился с пылкими страстями, с воображением сильным, с умом еще более острым, нежели твердым или основательным. Худое воспитание, испортив в нем естественные склонности, оставило ему способы к исправлению в одной Вере, ибо самые дерзкие развратители Царей не дерзали тогда касаться сего святого чувства. Друзья отечества и блага в обстоятельствах чрезвычайных умели ее спасительными ужасами тронуть, поразить его сердце; исхитить юношу из сетей неги и с помощию набожной, кроткой Анастасии увлекли на путь добродетели. Несчастные следствия Иоанновой болезни расстроили сей прекрасный союз, ослабили власть дружества, изготовили перемену. Государь возмужал: страсти зреют вместе с умом, и самолюбие действует еще сильнее в летах совершенных. Пусть доверенность Иоаннова к разуму бывших наставников не умалилась, но доверенность его к самому себе увеличилась; благодарный им за мудрые советы, Государь перестал чувствовать необходимость в дальнейшем руководстве и тем более чувствовал тягость принуждения, когда они, не изменяя старому обыкновению, говорили смело, решительно во всех случаях и не думали угождать его прямодушие человеческой слабости. Такое казалось ему непристойною грубостию, оскорбительною для Монарха. Например, Адашев и Сильвестр не одобряли войны Ливонской, утверждая, что надобно прежде всего искоренить неверных, злых врагов России и Христа... Двор был наполнен людьми, преданными этим двум любимцам; но братья Анастасии не любили их, также и многие

обыкновенные завистники, не терпящие никого выше себя. Последние не дремали, угадывали расположение Иоаннова сердца и внушали ему, что Сильвестр и Адашев суть хитрые лицемеры. Иоанн не унимал злословия, ибо уже скучал излишне строгими нравоучениями своих любимцев и хотел свободы; не мыслил оставить добродетели; желал единственно избавиться от учителей и доказать, что может без них обойтись. Бывали минуты, в которые природная его пылкость изливалась в словах нескромных, в угрозах... Но великодушие, после болезни, совершенно успокоило оказанное им Тринадцать цветущих лет жизни, проведенных в ревностном святых царских обязанностей, свидетельствовали, исполнении казалось, неизменную верность в любви ко благу. Хотя Государь уже переменился в чувстве к любимцам, но не переменялся заметно в правилах. Благочиние царствовало в Кремлевском дворце, усердие и смелая откровенность — в Думе. Только в делах двусмысленных, где истина или добро не были очевидны, Иоанн любил противоречить советникам. Так было до весны 1560 года».

Относительно главной мысли Курбского, которую автор, повидимому, не хочет принимать, — мысль, что все хорошее, совершившееся в царствование Иоанна, было не следствием самостоятельной деятельности его, но следствием деятельности Сильвестра и Адашева, причем Иоанн являлся только покорным исполнителем воли наставников своих, — относительно этой мысли важны в приведенном месте слова, определяющие качества Иоанна: «Иоанн родился с пылкими страстями, с воображением сильным, с умом еще более острым, нежели твердым или основательным». Конечно, здесь историку прежде произнесения такого решительного приговора нужно было бы показать из поступков Иоанна, почему он считает ум последнего более острым, чем основательным. Если же действительно ум Иоанна был более остр, чем основателен, то не выйдет ли прав Курбский в своей основной мысли? Особенно покажется он прав читателю, который встретил такое выражение: «Благодарный им за мудрые советы, Государь перестал чувствовать необходимость в дальнейшем руководстве». Так как это было пред 1560 годом, то значит, что до этого времени Иоанн находился под руководством; в этой мысли читатель убедится совершенно, когда увидит, что автор называет Сильвестра и Адашева наставниками

Иоанна. Так основная мысль Курбского, несмотря на старания автора отстранить ее, господствует в его рассказе и суждениях.

Курбский таким образом объясняет перемену, происшедшую в Иоанне с 1560 года: «Когда Иоанн оборонился храбрыми воеводами своими от врагов окрестных, то платит оборонителям злом за добро. Как же он это начинает? Вот как: прежде всего отгоняет от себя двух мужей, Сильвестра пресвитера и Адашева, ни в чем пред ним не виноватых, отворивши оба уха презлым ласкателям своим, которые заочно клеветали ему на этих святых мужей. Что же они клевещут и шепчут на ухо? Тогда умерла у царя жена: вот они и сказали, что извели ее те мужи, Сильвестр и Адашев. Царь поверил. Услышав об этом, Сильвестр и Адашев начали умолять то письмами, то через митрополита, чтоб дана была им очная ставка с клеветниками. Что же умышляют клеветники? — писем не допускают до царя, митрополиту запрещают и грозят и царю говорят: "Если допустишь их к себе на очи, то очаруют они тебя и детей твоих; притом все войско и народ любят их больше, чем тебя самого, побьют тебя и нас каменьями. Но если даже этого и не будет, то свяжут тебя опять и покорят в себе в неволю". Царь хвалит совет, начинает любить советников, связывает себя и их клятвами, вооружаясь, как на врагов, на мужей неповинных и на всех добрых, добра хотящих ему и душу за него полагающих. И что же прежде всего делает? Собирает собор из бояр и духовенства. Что же делают на этом соборе? — читают вины вышеозначенных мужей заочно. Митрополит говорит: "Надобно привести обвиненных сюда, чтоб выслушать, что они будут отвечать на обвинения". Все добрые были согласны с ним, но ласкатели вместе с царем возопили: "Нельзя этого сделать, потому что они, ведомые злодеи и волшебники великие, очаруют царя и нас погубят, если придут". И так судили их заочно. Сильвестра заточили на остров, что на Ледовитом море, в монастырь Соловецкий. Адашев отгоняется от очей царских без суда в нововзятый город ливонский, назначается туда воеводою, но не надолго: когда враги его услышали, что и там Бог помогает ему, потому что многие города ливонские хотели поддаться ему по причине его доброты, то прилагают клеветы к клеветам, и царь приказал перевесть его в Дерпт и держать под стражею; чрез два месяца он занемог здесь горячкою и умер. А Сильвестр еще прежде, чем изгнан был, увидав, что царь не по Боге всякие вещи начинает, претил ему и

заставлял много, но он отнюдь не внимал и к ласкателям ум и уши приклонил: тогда пресвитер, видя, что царь уже отвратил от него свое лицо, отошел в монастырь, сто миль от Москвы лежащий, и там, постригшись в монахи, провождал чистое житие. Но клеветники, услыхав, что монахи тамошние держат его в чести, из зависти и из боязни, чтоб царь, услыхав об этом, не возвратил его к себе, схвативши его оттуда, завезли на Соловки, хвалясь, что собором осудили его». Итак, по рассказу Курбского, сперва выходит, что дело началось отгнанием Сильвестра и Адашева; что это отгнание последовало по смерти царицы Анастасии, в отравлении которой они были обвинены, а потом вдруг узнаем, что Сильвестр еще прежде сам удалился и постригся в Кириллово-Белозерском монастыре [17]; что враги его потом из зависти и страха составили клевету, осудили заочно и отправили его в Соловки; следовательно, дело началось не клеветою в отраве, а прежде Сильвестр ушел, увидав, что царь отвратил от него лицо свое. Что же заставило Иоанна отвратить лицо от Сильвестра? Об этом Курбский не говорит и, перемешав порядок событий как бы намеренно, поставив позади то, что должно быть впереди, чтобы замять дело, обмануть читателя, удовольствовать его одною причиною, тогда как надобно было выставить две, лишил себя доверенности, показал, что или не умел, или не хотел объяснить причины нерасположения царя к Сильвестру, которое заставило последнего удалиться. Об Адашеве Курбский говорит, что он отгоняется от очей царских без суда, назначается в Феллин воеводою уже после смерти царицы Анастасии; но известно, что Адашев еще в мае 1560 года отправлен был в поход на Ливонию в третьих воеводах Большого полка.

Для пояснения и пополнения рассказа Курбского мы должны обратиться к другим источникам: у нас их нет, кроме рассказа самого царя Иоанна в ответном письме его к Курбскому. В этом рассказе мы не находим никакой запутанности, никаких недомолвок и утаек: Иоанн со своей точки зрения рассказывает по порядку все поступки Сильвестра, Адашева и стороны их, возбуждавшие в нем враждебные чувства, до самого путешествия из Можайска с больною царицею Анастасиею, во время которого между нею и Адашевым или его приверженцами произошла сильная размолвка, после чего Иоанн удалил Адашева и его ближайших советников. Сильвестр, видя

падение друзей своих, удалился сам в Кириллов монастырь; после этого с членов стороны Сильвестра и Адашева взята была клятва разорвать вечную связь с этими лицами; но они нарушили клятву и стали хлопотать о том, как бы возвратить Сильвестра и Адашева ко двору и дать им прежнее значение; тогда Иоанн употребил меры решительные: начались казни. В рассказе Карамзина мы находим очень слабое влияние известий, сообщаемых Иоанном, влияние рассказа Курбского господствует: удержана резкость, внезапность перехода в отношениях царя к Сильвестру и Адашеву, резкость перехода от расположения к холодности; мы видели, что у Курбского Иоанн, несмотря на совет Вассиана Топоркова, в продолжение нескольких лет не изменялся в своем поведении и в отношениях к Сильвестру и Адашеву, потом вдруг удалил последних по обвинению в отраве Анастасии, что и было бы удовлетворительно для читателя, если бы Курбский под конец не прибавил, что Сильвестр еще прежде удалился, заметив перемену в поведении Иоанна и невнимательность к его советам; Карамзин, допустив перемену в чувствах Иоанна к Сильвестру и Адашеву после болезни, говорит: «Но великодушие, оказанное им (Иоанном) после болезни, совершенно успокоило сердца, хотя Государь уже переменился в чувстве к любимцам, но не переменился заметно в правилах. Так было до весны 1560 года. В сие время холодность государева к Адашеву и Сильвестру столь ясно обнаружилась, что они увидели необходимость удалиться от двора».

Что же дало повод к обнаружению холодности? Путешествие из Можайска, как нам известно по летописям, было в конце 1559 года; оскорбление, здесь нанесенное, было последним, о котором упоминает Иоанн, и вслед за этим видим удаление Адашева и Сильвестра. Относительно причин дальнейшего гонения опять приведен рассказ Курбского, никого не могущий удовлетворить, будто бы враги Сильвестра и Адашева испугались, что первого уважали кирилловские монахи, а второго — граждане ливонские, и поспешили от них избавиться клеветою; опять опущено без внимания известие Иоанна, гонение произошло дальнейшее вследствие движения что приверженцев Сильвестра и Адашева для возвращения своим главам прежнего значения, — известие вполне удовлетворительное, ибо странно было бы предположить, чтобы этого движения со стороны такой многочисленной партии не было. Но если и до сих пор влияние Курбского так могущественно в рассказе Карамзина, то с этих пор оно становится исключительным; все дальнейшее поведение Иоанна рассматривается с точки зрения Курбского; объяснения поступков Иоанновых, встречающиеся в других источниках, или приводятся вскользь в тексте, с возражениями, или относятся к примечаниям, причем важнейшие известия опускаются, как, например, опущено известие Бельского в деле Козлова с боярами.

Таким образом, взгляд Карамзина на характер и деятельность Иоанна IV определился преимущественно под влиянием Курбского, вот почему мы должны были остановиться довольно долго над определением значения этого источника. Теперь нам остается сказать несколько слов о том, как представлены у Карамзина некоторые, более других замечательные события царствования Иоаннова.

В начале описания о нашествии крымского хана Саин-Гирея в 1541 году читаем следующее: «Тайно готовясь к войне, хан приглашал и царя Казанского идти на Россию; к счастию нашему, им неудобно было действовать в одно время: первый ждал весны и подножного корма в степях, а второй, не имея рати судовой, боялся летом оставить за спиною Волгу, где, в случае его бегства, Россияне могли бы утопить терпением долговременным Ободряемый нашим казанцев. бездействием, Сафа-Гирей в декабре 1540 г., миновав Нижний Новгород, успел беспрепятственно достигнуть Мурома, но далее не мог ступить ни шагу. Сафа-Гирей бежал назад. Этот не весьма удачный поход умножил число недовольных в Казани: тамошние князья и знатнейший из них. Булат, тайно писал в Москву, чтобы государь послал к ним войско; что они готовы убить или выдать нам Сафа-Гирея, который, отнимая собственность у вельмож и народа, шлет казну в Тавриду. Бояре велели немедленно соединиться полкам из семнадцати городов во Владимире. Еще хан Саин-Гирей скрывал свои замыслы, но бояре угадывали, что царь Казанский действовал по согласию с Крымом, и для того, на всякий случай, собрали войска в Коломне. Весною узнали в Москве, что хан двинулся к пределам России со всею ордою».

Здесь известия, что хан Крымский приглашал хана Казанского идти на Россию и что, к счастию, им неудобно было действовать в одно время, — объяснение, придуманное самим автором. Известно, что когда им можно было действовать в одно время, то хан Казанский

не боялся оставлять летом за собою Волгу, как то было в 1521 году; по летописям дело объясняется легче: Крымский хан соглашался не беспокоить Москвы большими нашествиями под условием, что Москва не будет стараться изгонять Гиреев из Казани, и, как только узнал, что московские войска двинулись на восток, сам двинулся на север со всею ордою. «Прибежили к великому князю из Крыма два полонянина и сказали великому князю, что приехал перед ними со Москвы в Крым царев человек, и сказал царю, что князь великий воевод своих с многими людьми послал ко Казани, а перед ним и пошли. А царь забыл своей правды и дружбы, начал наряжаться на Русь». Бояре не угадывали, что царь Казанский действовал по согласию с Крымом; они знали наверное, что война с Казанью должна быть вместе и войною с Крымом, и потому спешили собрать войско в Коломне.

Важнейшим делом внешней политики во вторичное правление Шуйских, по признанию Карамзина, было только перемирие с Литвою на семь лет. «Хотели и вечного мира, — говорит автор, — но не согласились, как и прежде, в условиях. Бояре домогались размена пленных: король требовал за то Чернигова и шести других городов, боясь, кажется, чтоб литовские пленники не возвратились к нему с изменою в сердце и чтобы российские не открыли нам новых способов победы». В источниках поведение короля объясняется легче: после Оршинской битвы в его руках было много знатных московских пленников, и он прямо объявлял, что ему нет выгоды менять знатных москвичей на простых литвинов, находившихся в плену у русских; что если последниехотят освобождения своих воевод, то пусть дадут за них города.

Четвертая глава VIII тома принадлежит к числу самых блистательных глав в «Истории государства Российского»: в ней заключается описание взятия Казани. Здесь во всем блеске мог выказаться талант Карамзина, заключающийся в умении живописать знаменитые картинные события. Понятно, если автор ищет пищи своему таланту, если ищет предметов, которые дадут этому таланту высказаться во всей полноте, понятно, следовательно, почему Карамзин так скучал древнею русскою историею и, за недостатком в ней блестящих, картинных событий, брался описывать деяния Тамерлана, почему он так прельщался царствованием Иоанна IV,

которое по красивости сравнивал с павлиным хвостом. Это сравнение, вырвавшееся у писателя в откровенной беседе с другом, драгоценно для нас, потому что ни один критик не в состоянии придумать выражения, в котором бы так верно, так наглядно высказался характер таланта карамзинского, условивший, разумеется, и взгляд писателя на свой предмет — на историю. «Какой славный характер для исторической живописи!» — восклицал историк об Иоанне IV; вслед за тем у него вырывается сравнение с павлиным хвостом, и это сравнение разоблачает перед нами образ воззрений писателя на свой предмет, разоблачает таинственную связь представлений; такое сравнение не могло явиться даром, без причины: сравниваемые поразили сравнивающего удивительным одинаково предметы сочетанием блестящих цветов. Пораженный этим блеском, писатель истощил свое искусство, чтобы передать его во всей полноте эту яркость, ослепляющую зрение, желая читателю, удержать соблюсти всю силу внешнего впечатления. Понятно, почему Карамзин, принимая авторитет Курбского, однако, отступает от известий последнего при описании блестящих событий первой половины царствования Иоаннова, старается смягчить, переиначить показания. Юный монарх совершает великие подвиги: мудрец в собрании архиереев и бояр, указующий на злоупотребления и на средства исправить их; герой на поле ратном, ведущий войско под враждебного города И сокрушающий их разумными распоряжениями и личною храбростию, — вот Иоанн! Для красоты описания это лицо необходимо, и необходимо именно в таком положении, в каком выставляют его летописи, а не в таком, в каком видим его у Курбского; если бы Карамзин принял представление Курбского — что все эти подвиги совершены не Иоанном, а руководителями его, которые увлекали слабого, устрашенного юношу волею-неволею под хоругвь, — то что было бы с картиною? Кто не знает этого описания?

«Заря осветила небо, ясное, чистое. Казанцы стояли на стенах; Россияне — перед ними, под защитою укреплений, под сению знамен, в тишине, неподвижно; звучали только бубны и трубы, неприятельские и наши; ни стрелы не летали, ни пушки не гремели. Наблюдали друг друга; все было в ожидании. Стан опустел; в его безмолвии слышалось пение иереев, которые служили обедню. Государь оставался в церкви с

немногими из ближних людей. Уж восходило солнце. Диакон читал Евангелие, и едва произнес слово: да будет едино стадо и един земля дрогнула, церковь пастырь! — грянул сильный гром, затряслась... Государь вышел на паперть; увидел страшное действие подкопа и густую тьму над всею Казанью: глыбы земли, обломки башен, стены домов, люди неслись вверх в облаках дыма и пали на город. Священное служение прервалось в церкви. Иоанн спокойно возвратился и хотел дослушать литургию. Когда диакон пред дверьми царскими громогласно молился, да утвердит Всевышний державу Иоанна, да повергнет всякого врага и супостата к ногам его, раздался новый удар: взорвали другой подкоп, еще сильнее первого, и тогда, воскликнув: с нами Бог! — полки российские быстро двинулись к крепости, и казанцы, твердые, непоколебимые в час гибели и разрушения, вопили: Алла! Алла! — призывали Магомета и ждали наших, не стреляя ни из луков, ни из пищалей; мерили глазами расстояние и вдруг дали ужасный залп: пули, каменья, стрелы омрачили воздух. Но Россияне, ободряемые примером начальников, достигли стены. Казанцы давили их бревнами, обливали кипящим варом; уже не береглись, не прятались за щиты: стояли открыто на стенах и помостах, презирая сильный огонь наших бойниц и стрелков. Тут малейшее замедление могло быть гибельно для Россиян. Число их уменьшилось; многие пали мертвые, или раненые, или от страха. Но смелые, геройским забвением смерти, ободрили и спасли боязливых: одни кинулись в пролом; иные взбирались на стены по лестницам, по бревнам; несли друг друга на головах, на плечах; бились с неприятелем в отверстиях... и в ту минуту, как Иоанн, отслушав всю литургию, причастясь Св. Тайн, взяв благословение от своего отца духовного, на бранном коне выехал в поле, знамена христианские уже крепости! Войско развевались на запасное ОДНИМ кликом приветствовало Государя и победу».

Это описание, так ласкающее наш русский слух, есть произведение могучего таланта. Но наука имеет свои требования, и мы должны сравнить приведенное описание с источником, именно со сказанием, находящимся в Царственной книге: «Того же дни разрядя государь по местом где кому быти, и отступил, да всяк готовится и строит, где кому поведено быти. И всем государь приказал готовиться к третьему часу дни воскресения. И с субботы на неделю в нощи той

был государь наедине со отцем своим духовным со Андреем протопопом, и нача вооружатися, юмшак на себя класти. И прислал к государю князь Михаиле Воротынский: "размысл (инженер) де и зелие под город подставил, а с города де его видели, и невозможно де до третьего часу мешкати". Царь же благочестивый посылает по всем полком возвестити, да вскоре вси уготовятся на брань. Сам же государь иде в церковь, и повеле правило по скору совершити; а самому государю многие слезы от очию своего испущающу, и у Бога милости просяще; свету же приближившуся, отпустил царь воевод, а велел на урочном месте стати у города, а своего царского приходу ожидати. А сам царь государь литоргию велел начати, хотяше бо святыни коснутися, и, соверша литоргию, отдати Божия Богови, и поехати со свой полк. Литоргии же наченшу сштрашно же убо и умилению достойно в то время благочестивого царя видети в церкви вооружена стояща, доспеху убо на нем ничим же прикрыту, но тако и всем сущим с ним вооруженным и тщащимся к смертному часу за благочестие. И се прииде время на литоргии чести св. Евангелие, солнцу уже восходящу, и егда кончаше диакон, и возгласи последнюю строку в Евангелии: и будет едино стадо и един пастырь — и абие якоже сильный гром грянул, и вельми земля дрогну и потрясеся. Благочестивый же царь из церковных дверей мало поступи и виде градскую стену подкопом вырвану; и страшно убозрением земля, яко тма являшесь и на великую высоту восходяще, и многие бревна и людей на высоту возметающе поганых. Царю же благоверному на молитву уклонившуся, и слезы к слезам прилагаше, и после того диакону тако глаголющу ектению (следуют слова ектений), и се внезапу вторый подкоп градскую стену грознее первого сотвори и множество граждан на высоте являшесь овым на полы перерванным, а иным же руце и позе оторвани, и со великой высоты бревна падаху во град, и множество нечестивых побивше. И пойде воинство царское со всех стран на град, и вси воини православнии Бога на помощь призвавше и кликнувше: с нами Бог! и со всех сторон вскоре устремишась на поганых. Татарове же во граде скверного своего Магмета лживого и советников его призывают к себе на помощь и говорят: вси помрем за юрт! — и бъющимся обоим в воротах и на стенах крепце. Царь же благочестивый стоя в церкви и моля Создателя Бога, такожде и вси людие с великим воплем и плачем призывая Бога на помощь и священницы служаще в олтари с слезами литоргию свершаху. И се прииде некий ближний царев глагола ему: се, государь, время тебе ехати, яко убо бьющимся твоим со неверными, и многие полки тебя ожидают. Царь же отвеща ему аще до конца пение дождем, да свершенную милость от Христа получим. И се вторая весть прииде от града: великое время царю ехати, да укрепятся воини, видев царя. Царь же, воздохнув из глубины сердца своего и слезы многия пролия, и рече: не остави мене Господи Боже мой! и не отступи от мене, воньми в помощь мою! И прииде к образу чудотворца Сергия, и приложися к нему, и причастися святые воды, и доры вкусив, тако и богородична хлеба и литоргии скончание бывши, благословляет его отец его духовный, изрядный Андрей протопоп, животворящим крестом. Исходит царь из церкви молитвою вооружен и обращен к своим богомольцем рек: меня благословите и простите за православие пострадати, и вы беспрестанно Бога молите, а нам молитвою помогайте. И вступает государь в бранное стремя, и всходит на конь и по скору поиде к полку своему ко граду; и виде государь знамена христианские уже на стенах градских».

В этом рассказе, который так тяжел и сух сравнительно со своим воспроизведением у Карамзина, читатель, однако, остановится на любопытном описании положения главного действующего лица, описании, которое проливает большой свет на характер Иоанна; вместе с этим читатель поразится совершенно противоположною постановкою фигуры Иоанновой у Карамзина. В летописи Иоанн, молящийся с глубокими воздыханиями и слезами, проникнутый религиозным чувством, которое одно его поддерживает; у историка эти черты стерты, и одним словом, словом «спокойно», которого нет в источнике и быть не могло, дан лицу совершенно иной характер: «Иоанн спокойно возвратился и хотел дослушать литургию». Читатель заметил также неверность в одной подробности: источник не говорит, чтобы Иоанн приобщался Св. Тайн.

Представление Иоанна во второй половине его царствования в IX томе «История государства Российского», представление, совершенно согласное с представлением Курбского, проистекает также из господствующего стремления автора, так ясно им самим высказанного в приведенном отзыве его о характере Иоанна IV: если бы историк стал останавливаться над каждым известием, подвергать его критике,

указывать на явления объясняющие и некоторые вопросы оставлять нерешенными вследствие недостатка пояснительных свидетельств, то «славный характер для исторической живописи» потерял бы очень много, чего Карамзин, по свойству своего таланта, никак не мог допустить.

Известно, какое впечатление производят на читателя описания казней в IX томе, причем историк-живописец достигает своей цели; но историк настоящего времени не может позволить себе подобного описания казней в подробностях, ибо не может никак поручиться за верность этих подробностей. Откуда почерпнуты они? Из Курбского, Гваньини, Таубе и Крузе. Но эти повествователи или противоречат друг другу в подробностях, или когда имеем возможность сравнить эти подробности с источниками, не подлежащими сомнению, то они оказываются ложными. Так, например, у Курбского читаем об архиепископе Казанском Германе: «И по дву дней обретен во дворе своем мертв епископ оный». Карамзин при этом должен сказать: «Герман не через два дни умер, а в 1567 году, ноября 6-го». В подробностях о кончине князя Владимира Андреевича Курбский противоречит Таубе и Крузе; Гваньини противоречит этим троим повествователям; Одерборн противоречит всем; Карамзин, не обращая большого внимания на Гваньини и Одерборна, останавливается только на свидетельстве писателей более для него авторитетных, именно на Курбском и Таубе с Крузе, и так как они противоречат друг другу, то он решает, кто справедливее: «Таубе и Крузе находились тогда при царе, а Курбский в Литве; сказание первых достовернее». Но эти достоверные свидетели, равно как Курбский, говорят, что вместе с князем Владимиром погибли и все сыновья его, а в памятнике, не подлежащем сомнению, именно в завещании Иоанна, говорится о сыне князя Владимира как о лице живом. Завещание царя было известно автору.

Мы обязаны также обратить внимание на некоторые положения, которые принимаются без возможности поверки и до сих пор имеют силу; таково, например, положение о происхождении донских казаков: «Важнейшим страшилищем для варваров и защитою для России, между Азовским и Каспийским морем сделалась новая воинственная республика, составленная из людей, говорящих нашим языком, исповедующих нашу веру, а в лице своем представляющих смесь европейских с азиятскими чертами, людей неутомимых в ратном деле,

природных конников и наездников, иногда упрямых, своевольных, хищных, но подвигами усердия и доблести изгладивших вины свои, говорим о славных Донских казаках, выступивших тогда на феатре истории. Нет сомнения, что они же назывались прежде Азовскими, которые в течение XV века ужасали всех путешественников в пустынях Харьковских, Воронежских, в окрестностях Дона; грабили московских купцов на дороге в Азов, в Кафу; хватали людей, посылаемых нашими воеводами в степи для разведывания о ногаях или крымцах, и беспокоили набегами Украину. Они считались Российскими беглецами; искали дикой вольности и добычи в опустевших улусах Орды Батыевой, в местах ненаселенных, но плодоносных, где Волга сближается с Доном. Отец Иоаннов жаловался на них султану, как государю Азовской земли; но казаки гнушались зависимостию от Магометанского царства, признали над собою верховную власть России — и в 1549 году вождь их Сарызман, именуясь подданным Иоанна, строил крепости на Дону: они завладели сею рекою до самого устья, требовали дани с Азова, воевали Ногаев, Астрахань, Тавриду; не щадили и турков; обязывались служить вдали бдительною стражею для России, своего древнего отечества, и, водрузив знамение креста на пределах Оттоманской империи, поставили грань Иоанновой державы в виду у султана».

Донские казаки, выходцы из пределов Московского государства, никогда не находились в подданстве у турецкого султана; их никак не должно смешивать с турецкими азовскими казаками, которые во время наших донских казаков не переставали враждебно усиления действовать против них и вообще против русских людей: так, в 13-м Љ Крымских дел под 1569-м годом в рассказе Семена Мальцева читаем: «Послал меня царь и государь в Ногаи, и яз государские дела зделал, и на Переволоке пришли на нас Азовские казаки и меня взяли замертво ранена». Всего яснее о различии азовских казаков от русских, донских, видно из грамоты московского посла в Крым Нагого к государю (Дела Крыма, Љ 10, стр. 125): Нагой пишет, что ему нельзя послать весть в Москву, потому что «Азовские казаки с твоими государевыми казаками не в миру». Мы не можем теперь принять известие Карамзина об уничтожении опричнины в 1572 году; г. Бередников в примечаниях к изданным им актам Археографической комиссии указал на акты, которыми подтверждается известие летописей о царе Симеоне, а вместе и существование опричнины после 1572 года; мы должны прибавить, что догадка г. Бередникова о тождестведвух названий для одного и того же учреждения вполне подтверждается известием неизданной летописи из Библиотеки Волынского, хранящейся в Московском архиве Министерства иностранных дел.

Пораженные характером Иоанна переменами, IV. происходившими в образе его действий, занятые преимущественно объяснением этих перемен, оба историка, и Щербатов, и Карамзин, естественно, приписали им гораздо большее влияние на ход событий, чем какое они в самом деле имели; так, например, известный ход знаменитой войны с Баторием приписан исключительно состоянию духа Иоанна и его поведению относительно старых, искусных, опытных воевод, тогда как ход войны с Баторием необходимо условливался тогдашним военным устройством. Для удостоверения в этом стоит только вспомнить, как велись войны с Литвою при отце Иоанна и при нем самом: многочисленные, но нестройные массы войска входили в неприятельские области, опустошали их возвращались; Литва, подобно Московскому государству, не имела постоянного войска; но здесь и там владельцы земельных участков должны были по требованию государства выступать в поход; но в Литве по известному ее государственному устройству сбор войска происходил гораздо медленнее и являлось его гораздо менее, чем в Московском государстве, чем и объясняются успехи последнего, взятие Смоленска, Полоцка. Но Стефан Баторий переменил прежний образ ведения войны: он вывел в поле дружины ратников иноплеменных, но искусных, привыкших к войне, как своему ремеслу, и предпринял быстрое, наступательное движение, являясь там, где его не ждали, и здесь причина его успеха, ибо и после московские войска в войнах с поляками и шведами постоянно терпели поражения в чистом поле, до тех пор пока не введено и устроено было постоянное войско, пока победитель Полтавский не провозгласил тоста за здоровье своих учителей в военном искусстве. Что же касается до поведения Иоанна IV в войне с Баторием и в сношениях с ханом Крымским после сожжения Москвы, то оно было одинаково с поведением его предшественников в подобных случаях: стоит только вспомнить поведение Иоанна III на берегах Угры; уступать при неудаче и

выжидать обстоятельств благоприятнейших, не спуская глаз с цели, было правилом Московских государей.

Щербатов в заключение рассказа о делах Иоанна IV снова обращается к характеру последнего, снова старается объяснить перемену, в нем происшедшую. Карамзин изобразил Иоанна по Курбскому и в то же время, не допуская мысли Курбского, что первая половина царствования не принадлежит Иоанну, отказывается в заключение объяснить характер этого государя и говорит: «Несмотря на все умозрительные изъяснения, характер Иоанна есть для ума загадка, и мы усомнились бы в истине самых достоверных о нем известий, если бы летописи других народов не являли нам столь же удивительных примеров». Но ум не успокаивается, пока не разрешит загадок, и потом изображение Иоанна IV, сделанное Карамзиным, немедленно же встретило сильные возражения, которые будут рассмотрены нами в своем месте [18].

Царствование Иоанна IV, как обыкновенно, оканчивается у Карамзина кратким обзором внутренней деятельности; здесь мы остановимся только на одном важном положении, утвердившемся в науке, — на положении о думных дворянах: «Как в Приказах, так и в областных правительствах или судах главными действователями были дьяки-грамотеи, употребляемые и в делах посольских, ратных, в осадах, для письма и для совета, к зависти и неудовольствию дворянства воинского. Умея не только читать и писать лучше других, но зная твердо и законы, предания, обряды, дьяки или приказные люди составляли особенный род слуг государственных, степению ниже дворян и выше жильцов или нарочитых детей боярских, гостей или купцов именитых; а дьяки Думные уступали в достоинстве только Советникам государственным: боярам, окольничим и новым Думным Дворянам, учрежденным Иоанном в 1572 году для введения в Думу сановников отличных умов, хотя и не знатных родом». При таком точном определении времени учреждения думных дворян автор ссылается на статью, помещенную в XX части «Древней Российской Вивлиофики»; но он был вправе не руководствоваться показаниями этой статьи, имея в руках источники, которые говорят совершенно противное: дела посольские говорят нам о дворянах, заседавших с боярами в Думе прежде 1572 года, о детях боярских, заседавших в Думе до совершеннолетия Иоанна. Так, при приеме литовских послов в 1542 году читаем: «Да в избе ж были у Великого Князя и дети боярские, которые в думе живут и которые в думе не живут»; при описании переговоров с литовскими послами 1570 года говорится: «А у сего дела бояре были да дворяне, которые живут у государя с бояры».

После Иоанна IV историку представился другой чудный характер для исторической живописи — характер Бориса Годунова. Для описания времен Годунова и самозванца у Карамзина кроме князя Щербатова был еще другой предшественник, историограф XVIII века Миллер, который произнес над Годуновым такой приговор: «Борис Федорович Годунов по остроте ума и необыкновенному искусству в делах правления должен быть включен в число величайших людей своего времени. Но его нравственный характер не соответствовал достоинствам умственным, отчего и происходит, что об нем обыкновенно слышится мало хорошего... Борис принадлежал к числу тех людей, которые для достижения верховной власти считают все средства позволенными...»

Щербатов, по собственному признанию много пользовавшийся сочинением Миллера, ослабляет несколько приговор последнего относительно умственных достоинств Годунова и с самого начала преимущественно выставляет его недостатки нравственные:

«Сей Годунов был человек, исполненный честолюбия, коварный, захватчивый, мстительный и ничего священным не почитающий, лишь бы что могло довести его до конца его намерений. Не видно, чтоб он какими знатными своими подвигами приобрел себе какую именитость; ибо, начав свою службу с 1571 года, был рындою при царевиче Иоанне Иоанновиче в походе против Крымского царя, уже в 1577-м был пожалован крайчим и во время похода царя Иоанна Васильевича оставлен при царевиче Феодоре Иоанновиче вторым, что может быть и было первое основание любви к нему от сего младого князя и по восшествии его на престол, ибо легко мог толь хитрый муж вкрасться в сердце младого добродушного князя; в 1579 году был в походе на Лифляндию и против польского короля Стефана Батория, в коем ничего знаменитого учинено не было, а в 1591 году пожалован он в бояре и был на свадьбе царя Иоанна Васильевича на Нагой дружкою, а жена его свахою. Может статься, помогло ему толь скоро достигнуть в чин боярский супружество его на дочери Малюты Скуратова, любимца царя Иоанна Васильевича... Годунов при всех своих пороках был

разумен, предведущ и трудолюбив... Сей муж был одарен великим разумом и искусством и, как видно, довольным трудолюбием; к тому же кажется, что и самое сердце его довольно было преклонно к правосудию и к благодеяниям. Конечно бы, такие естественные дарования могли послужить к великой пользе отечества его, если бы сие отечество не было несчастно тем, что он жил, что сестра его была супругою и что он служил слабому государю. Представив, каков был царь Борис Федорович и что, поощряя его страсти, ввело его в преступления, воззрим на него, яко на другова человека, поврежденного уже счастием и стечением обстоятельств. Он при вышеозначенных хороших качествах был честолюбив до крайности, яко весь поступок его доказует; пышен, как видно по его зданиям и по великолепию, введенному ко двору и в государство; скрытен в своих делах, яко сие доказуют приезды Князя Шведского, которого прямые причины в сокровении остались, и Князя Датского, которые тогда лишь открылись, когда их он сам открыть восхотел; хитр, мог враждебного емуМитрополита Дионисия привести быть противником желаемого разрушения брака сестры его с царем Феодором, примирившись с Шуйским, дабы им пагубу сделать; непримирим к своей вражде, яко поступок его с самыми Шуйскими и другими доказует; коварен и притворен, как явился он яко бы отречениями своими от престола; подозрителен до крайности и мстителен, яко изгнанием и убиением многих из роду Романовых себя оказал, являя притом, что он не устрашался проливать безвинные крови; не знающ в военном искусстве и едва ли имеющий довольно бодрости духа, чтоб быть самому в действии военном, ибо по крайней мере видно, что он нигде вблизи неприятеля не видал; и наконец, не было никакого преступления, которого бы он не готов был соделать для достижения до своих намерений. Что избрание его было чрез единые его происки учинено, что, обмоченный кровию царей своих, ясно в воздание за учиненные убийства он сел на их престол и преступлениями достиг наследником их учиниться, сие по историям царя Феодора Иоанновича и его самого довольно видно; однако, взошед беззаконным образом на престол, приял убийственными руками скипетр и державу Владимира Мономаха окроме тех преступлений, которые подозрениями и мщением побужден был соделать, можно сказать, что в правлении своем явил себя мудрым государем: содержал мир с окружными

народами, не давая упадать военному чину; правосудие в его царствование со всею точностию, но и с умеренностью к последнему из народа было исполняемо; кичливость бояр и обиды, чиненные ими, благопристойным образом были укрощены; границы Российские укреплены; казна государственная сохранена и умножена; торговля поощрена; во время голода народ спомоществован; здания соделаны, — и словом: мог бы сей назваться великий государь и отец отечества, если бы не хищность, не разврат, не убийства и преступления его до престола довели».

Карамзин принял без поверки приговор предшественников относительно характера Борисова, ибо этот приговор не мог не прельстить его: великий человек, могший быть великим государем и отцом отечества, поддался страсти, честолюбию, которое увлекло его к преступлению, и это преступление отравляет все, губит преступника, несмотря на все его величие, на все стремление к добру, и ввергает государство в бездну зол — какое явление для исторической живописи! Мы думаем, что Пушкин принял характер Бориса, как он представлен у Карамзина, не потому только, что преклонялся пред авторитетом последнего: это представление характера Борисова точно так же прельстило и Пушкина, как прельстило самого Карамзина. Щербатов, сообразуясь с известиями источников, не выставляет деятельности Годунова в выгодном свете, не дает ей видного места до царствования Феодора Иоанновича. Карамзин поступает иначе — он знакомит своих читателей с Годуновым еще в царствование Иоанна IV: уже здесь выставляет его таким, каким он является во все последующее время, и, за неимением известий в источниках, прибегает к догадкам, чтобы возвысить значение Годунова еще при Грозном; приведя известие (неверное, как мы видели) об уничтожении опричнины в 1572 году и упомянув о Малюте Скуратове, автор говорит: «Любовь к нему (к Малюте) государева начинала тогда возвышать и благородного юношу, зятя его, свойственника (?) первой супруги отца Иоаннова, Бориса Феодоровича Годунова, в коем уже зрели и великие добродетели государственные, и преступное властолюбие. В сие время ужасов юный Борис, украшенный самыми редкими дарами природы, сановитый, благолепный, прозорливый, стоял у трона окровавленного, но чистый от крови, с тонкою хитростию избегал гнусного участия в смертоубийствах, ожидая

лучших времен и среди зверской опричнины сияя не только красотою, но и тихостию нравственною, наружно уветливый, внутренне неуклонный в своих дальновидных замыслах. Более царедворец, нежели воин, Годунов являлся под знамена отечества единственно при особе монарха, в числе его первых оруженосцев, и, еще не имея никакого знатного сана, уже был на Иоанновой свадьбе (в 1571 году) дружкою царицы Марфы, а жена его, Мария, свахою, что служило доказательством необыкновенной к нему милости государевой. Может быть, хитрый честолюбец Годунов, желая иметь право на благодарность отечества, содействовал уничтожению опричнины».

Таким образом, Годунов с самого начала является пред читателями уже совсем готовый, со всеми дальновидными замыслами, тогда как Щербатов несколько раз повторяет, что замыслы эти созревали постепенно, вследствие обстоятельств. Оба историка согласны в том, что Годунов учредил патриаршество для собственных целей. Для подкрепления себя вообще — по Щербатову; прямо для достижения престола — по Карамзину. «Предложено уже выше, говорит Щербатов, — каким образом в 1587 году митрополит Дионисий происками Годунова был низвержен с престола российской митрополии и на его место Иов, преданный сему гордому любимцу, был посвящен. Коль на самого Иова Годунов ни полагал надежду, коль сан его ни был почтен в России, но данный им пример низвержения митрополита мог также и на сего обратиться, а для сего и надлежало учредить новую степень, до того небывалую, которая бы саном своим отвращала все могущие учиниться покушения и противу его; надлежало польстить духовный российский чин, учиня его под властию из среды их избираемому патриарху; учинить с первого виду полезнейшее дело для церкви российской извлечением ее от повиновения отдаленным и чужеземным патриархам; и наконец, надлежало наградить и паче к себе привязать самого сего Иова». По Карамзину: «Борис, равно славолюбивый и хитрый, промыслил еще дать новый блеск своему господству; Годунов, еще называясь подданным, искал опоры: ибо предвидел обстоятельства, в коих дружба царицы не могла быть достаточна для его властолюбия — и спасения; обуздывал бояр, но читал в их сердце злую зависть, ненависть справедливую к убийце Шуйских; имел друзей, но они им держались и с ним бы пали или изменили бы ему в превратности рока;

благотворил народу, но худо верил его благодарности в невольном чувстве своих внутренних недобродетельных побуждений к добру и знал, что сей народ в случае важном обратит взор недоумения на бояр и духовенство; хотел польстить честолюбию Иова титлом высоким, чтобы иметь в нем тем усерднейшего и знаменитейшего пособника, ибо наступил час решительный, и самовластный вельможа дерзнул наконец приподнять для себя завесу будущего». Смерть царевича Димитрия и избрание Годунова у обоих историков описаны одинаково; на закон 1592 года оба смотрят также одинаково.

Рассказ о появлении самозванца Карамзин начинает «Начинаем повесть, равно истинную и неимоверную». Возникновение мысли о самозванстве в голове монаха объясняется следующим образом: «Пользуясь милостию Иова, он (Отрепьев) часто ездил с ним и во дворец: видел пышность царскую и пленился ею; изъявлял необыкновенное любопытство; с жадностию слушал людей разумных, особенно когда в искренних тайных беседах произносилось имя Димитрия-царевича; везде, где мог, выведывал обстоятельства его судьбы несчастной и записывал на хартии. Мысль чудная уже поселилась и зрела в душе мечтателя, внушенная ему, как уверяют, одним злым иноком — мысль, что смелый самозванец может воспользоваться легковерием Россиян, умиляемых памятию Димитрия, и в честь небесного правосудия казнить святоубийцу». Описав, как самозванец в первый раз открыл о своем царственном происхождении, Карамзин продолжает: «Так в первый раз открылся Самозванец еще в пределах России; так беглый диакон вздумал грубою ложью низвергнуть великого монарха и сесть на его престол в державе, где Венценосец считался земным богом, и где народ еще никогда не изменял царям, и где присяга, данная государю избранному, для верноподданных была не менее священною! Чем, кроме действия непостижимой судьбы, кроме воли Провидения, можем изъяснить не только успех, но и самую мысль такого предприятия? Оно казалось безумным; но безумец избрал надежнейший путь к цели — Литву! Там везде древняя, естественная ненависть России усердно К благоприятствовала нашим изменникам от князей Шемякина, Верейского, Боровского и Тверского до Курбского и Головина: туда устремился и самозванец». После разных похождений самозванец открывается Вишневецкому: «Вишневецкие донесли Сигизмунду, что

у них истинный наследник Феодоров; и Сигизмунд ответствовал, что желает его видеть; он уже был извещен о сем любопытном явлении другими, не менее ревностными доброхотами Самозванца: папским нунцием Рангони и пронырливыми иезуитами, которые тогда нунцием Рангони и пронырливыми иезуитами, которые тогда царствовали в Польше, управляя совестью малодушного Сигизмунда, и легко вразумили его в важные следствия такого случая. В самом деле, что могло казаться счастливее для Литвы и Рима? Чего нельзя было им требовать от благодарности Лжедимитрия, содействуя ему в приобретении царства, которое всегда грозило Литве и всегда отвергало духовную власть Рима? В опасном неприятеле Сигизмунд мог найти друга и союзника, а папа — усердного сына в непреклонном ослушнике. Сим изъясняется легковерие короля и нунция: думали не об исти не, но единственно о пользе; одно бедствие, одно смятение и междоусобие России уже пленяло воображение наших врагов естественных; и если робкий Сигизмунд еще колебался, то ревностные иезуиты победили его нерешимость, представив ему способ, обольстительный для одних слабых: действовать не открыто, не прямо, а под личиною мирного соседа ввергнуть пламя войны в Россию. Должно отдать справедливость уму расстриги: предав себя иезуитам, он выбрал действительнейшее средство одушевить ревностию беспечного Сигизмунда, который, вопреки чести, совести, народному знатных праву мнению многих вельмож, решился быть сподвижником бродяги... Но способы его (Лжедимитрия) еще не соответствовали важности замысла. Ополчалась в самом деле не рать, а сволочь на Россию. Расстрига и друзья его чувствовали нужду в иных, лучших подвижниках и должны были, естественно, искать их в самой России. Зная свойство мятежных Донских казаков, зная, что они не любили Годунова, казнившего многих из них за разбои, не любили Годунова, казнившего многих из них за разоои, Лжедимитрий послал на Дон с грамотою. Удальцы донские сели на коней, чтоб присоединиться к толпам Самозванца. В городах, селах и на дорогах подкидывали грамоты от Лжедимитрия к Россиянам с вестию, что он жив и скоро к ним будет. Народ изумлялся, не зная, верить тому или не верить, а бродяги, негодяи, разбойники, издавна гнездясь в земле Северской, обрадовались: настало их время. Кто бежал в Галицию к Самозванцу, кто в Киев, где Ратомский также выставлял знамя для собрания вольницы, он поднял и казаков Запорожских. Столько движения, столько гласных происшествий

могли ли утаиться от Годунова? Не сомневаясь в убиении истинного сына Иоаннова, он изъяснял для себя столь дерзкую ложь замыслами своих тайных врагов, искал заговора в России, подозревал бояр; призвал в Москву царицу-инокиню, мать Димитриеву, и ездил к ней в Девичий Монастырь с патриархом, воображая, как вероятно, что она могла быть участницею предположенного кова, и надеясь лестию или угрозами выведать ее тайну; но царица-инокиня, равно как и бояре, ничего не знали. Лжедимитрий шел с мечом и с манифестом. Сей довершил действие грамот манифест прежних подметных Лжедимитрия в Украине, где не только подвижники Хлопковы и слуги опальных бояр, ненавистники Годунова, не только низкая чернь, но и многие люди воинские поверили Самозванцу, не узнавая беглого диакона в союзнике короля Сигизмунда, окруженном знатными Ляхами, в витязе ловком и искусном владеть мечом и конем, в военоначальнике бодром и бесстрашном: ибо Лжедимитрий был всегда впереди, презирал опасность и взором спокойным искал, казалось, не врагов, а друзей в России. Несчастия Годунова времени, надежда на лучшее, любовь к чрезвычайному и золото, рассыпанное Мнишеком и Вишневецкими, также способствовали легковерию народному. Смятенный ужасом, Борис не дерзал идти навстречу к Димитриевой тени: подозревал бояр и вручил им судьбу свою. Никто из Россиян до 1604 года не сомневался в убиении Димитрия, который возрастал на глазах всего Углича и коего видел весь Углич мертвого: следовательно, Россияне не могли благоразумно верить воскресению царевича; но они не любили Бориса! Еще не имев примера в истории самозванцев и не понимая столь дерзкого обмана; любя древнее племя царей и с слушая тайные рассказы о мнимых добродетелях жадностью Лжедимитрия, Россияне тайно же предавали друг другу мысль, что Бог действительно каким-нибудь чудом, достойным его правосудия, мог спасти Иоаннова сына для казни ненавистного хищника. По крайней мере сомневались и не изъявляли ревности стоять за Бориса. Не только Годунов с мучительным волнением души следовал мыслями за московскими знаменами, но и вся Россия сильно тревожилась в ожидании: чем судьба решит столь важную прю между Борисом и или неложным Димитрием: ибо не было общего удостоверения ни в войске, ни в государстве; расположение умов было отчасти несогласно, отчасти неясно и нерешительно. Войско шло,

повинуясь царской власти, но колебалось сомнением, толками, взаимным недоверием».

Так объясняются появление и успех самозванца: «Мысль чудная уже поселилась и зрела в душе мечтателя, внушенная ему, как уверяют, одним злым иноком». Понятно, что любопытство читателя сильно затрагивается известием, что мысль о самозванстве была внушена Отрепьеву каким-то злым иноком; читатель желает подробностей, он не находит их в примечании, где автор ссылается на Бера, то есть Бурсова, но последний злого инока выставляет не самостоятельным внушителем злой мысли, но орудием врагов Годунова: «Wie nun der Teufel sichet, dass mit Gifft und Mordt nichts zu verrichten seyn will, Gibt er ihnen (врагам Бориса) einen andern Grif im Sinn, namlich eine Luge furzunehmen, brauchten auch ein recht wunderlich und teufelisch instrument dazu. Es var ein Munch Chrisca Atrepio genannt. Derselbige (weilen er und alle Munche es mit den Verrahtern und Mentmachern wider den Boris hieltem) wird dazu bewogen, dass, er sich auf die Fahrt begebe. Dieser hatte solches Befehlig: er solle ins Reich Polen ziehen und in grosser Geheim nach einen solchen Jungling sich umbthun, der dem zu Uglitz ermordeten Demetrie an Alter und Gestalt mogte atniich zeyn, und wann er solchen antrefe, denselben dahin bereden, das er sich fur den Deme-trium ausgebe, und dass ihn Gott der Herr zu der Zeit, als er sollen ermordet werden, durch getreue Leute in grosser Geheim davon bringen lassen, und ware an seiner Stelle ein ander Knabe umbgebracht worden». — «Kak только увидел дьявол, что ядом и убийством ничего не достичь, внушает он им (врагам Бориса) другой план, а именно: прибегнуть ко лжи. И для того использовали они поистине необычное и дьявольское орудие. Был один монах, по имени Гришка Отрепьев. Этого самого (поскольку он и все монахи были заодно с предателями и мошенниками против Бориса) побудили к тому, чтобы он отправился в путь. Имел он такой наказ: проникнуть в Государство Польское и, строго соблюдая тайну, подыскать какого-нибудь юношу, который бы возрастом и лицом походил на убитого в Угличе Димитрия, и будто во время, когда он должен был быть убит, Господь Бог сподобил преданных людей надежно спрятать его, а вместо него был якобы убит другой мальчик» (Примеч. ред.).

Князь Щербатов предлагает то же объяснение, догадывается, что самозванец был орудием врагов Борисовых: «Может быть, кто-нибудь

вложил в него первые мысли приять на себя сие великое имя. Когда, может статься, он показал некоторую к сему преклонность, то не было ли еще кого из знатных, который как по ненависти на царя Бориса, так и для своего возвышения, поелику легко считал восстановленного сего слабого кумира низринуть и самому его место занять, тайно его к тому побуждал; ибо, в самом деле, не нахожу я почти возможности верить, чтоб сын боярской, быв менее двадцати лет юноша и постриженный в монашеский чин, мог выдумать и еще меньше сам собою упорствовать в таком великом предприятии».

Лжедимитрия, Характер поведение престоле, его на доказательства самозванства его изложены Карамзиным согласно с предшествовавшими историками Мюллером и князем Щербатовым. Что касается до характера Шуйского, то князь Щербатов является адвокатом его против современных писателей. «Не легко, — говорит он, — начертать обычай сего несчастного государя, который был возведен в смутное время на престол, принужден был претерпевать нарекания в несчастиях России, которым он не был причиною и которым помогать не мог. Что он был человек честолюбивый и хитрый, то сие доказует единое следствие его при царе Федоре Иоанновиче о смерти царевича Димитрия, также, что, невзирая на всю неприязнь Бориса Годунова к его роду, он всегда старался снискать его приязнь. Не меньше его хитрость, проницательный разум и дальновидность являются в учинении заговора против Расстриги, и с какою твердостию, остроумием и прозорливостию сие исполнил, ибо и в самом жару толь опасного действия предусматривал, что Польская Республика будет требовать удовольствия за побиенных поляков и за бесчестие послам; все сие, колико могли допустить обстоятельства, отвратил. Неизвестно нам подлинно, употреблял ли он какие происки для получения престола; но думаю, что главный его происк был пред отечеству услуга убиением гнусного учиненная самозванца, тирана и разорителя веры. Но воззрим на его разум в делах управления государства. Хотя нам остается единый его указ 1607 года о крестьянах, с которого времени их, перешедших на прежние их жилища, возвращать и какое наблюдение о сем должно земское благочиние иметь, то и в сем мы обретаем столько провидения, разума и справедливости, что он, конечно, и просвещеннейшим временам мог бы честь сделать. Впрочем, поступки его политические в самых

трудных обстоятельствах изъявляют его дальновидность. Заключенные договоры с королем шведским и требуемая помощь от Швеции показуют, что он проник, коликая есть польза самого короля шведского Карла IX не допустить польскому королю усилиться и Россию ослабить. Естьли же, наконец, следствие противное показало, в том не он, а обстоятельства причиною. Если мы воззрим на его храбрость и знание военного искусства, то и в сем случае не можем мы не воздать ему достойной похвалы. Повсюду, где он был употреблен начальником войска, имел успех. Распределение войск, назначение им мест толь великое искусство показуют, а особливо во время похода его под Тулу; и оное есть таково в распоряжении разных отрядов, что может примером искусным нынешним вождям быть. Он, может статься, почти единый чувствовал в тогдашнее время великое сие и неоспоримое правило, что без доброго устроения вся храбрость воинов в ничто обращается: чего ради выбрав из чужестранных писателей и составил ратной устав в 1607 году, который был дополнен царем Михаилом Федоровичем в 1621 году. Что касается до твердости его духа, то оную он в неисчетных случаях показал. Наконец, что касается до его благосердия, то если он во всю жизнь свою сие единое соделал, что присягою своею учинил право Россиянам не быть без суда наказуемым, и чтоб наказание единого виновного на род его не простиралося, за сие бы единое достоин он был вечной хвалы. Одним словом: кто возмет на себя труд сличить сие мое начертание с его историею, тот ясно усмотрит, что сей государь был мудр, продлителен, храбр, искусен в политических и военных делах и что сердце его склонно было к милосердию. Но он был несчастен, а несчастие не токмо лишило его способов полезное что для государства соделать, но и самого свело в монахи и потом в плен, где и скончался».

Таким образом, Щербатов не дает характеру Шуйского, в таком благоприятном свете выставленному, никакого влияния на обстоятельства: вследствие несчастных обстоятельств Шуйский не мог сделать ничего полезного, несмотря на свои достоинства. У Карамзина характер Шуйского представлен гораздо удовлетворительнее: он уже дает видеть читателю, хотя и не совсем ясно, влияние характера и поведения Шуйского на ход событий: «Василий, льстивый царедворец Иоаннов, сперва явный неприятель, а после бессовестный угодник и все еще тайный зложелатель Борисов, достигнув венца успехом ков,

мог быть только вторым Годуновым лицемером, а не героем добродетели, которая бывает главною силою и властителей и народов в опасностях чрезвычайных. Борис, воцарясь, имел выгоду: Россия уже давно и счастливо ему повиновалась, еще не зная примеров в крамольстве.

Но Василий имел другую выгоду: не был святоубийцею; обагренный единственно кровию ненавистною и заслужив удивление Россиян делом блестящим, оказав в низложении самозванца и хитрость и неустрашимость, всегда пленительную для народа. Чья судьба в истории равняется с судьбою Шуйского? Кто с места казни восходил на трон и знаки жестокой пытки прикрывал на себе хламидою царскою? Сие воспоминание не вредило, но способствовало общему благорасположению к Василию: он страдал за отечество и веру! Без сомнения, уступая Борису в великих дарованиях государственных, Шуйский славился, однакож, разумом мужа думного и сведениями книжными, столь удивительными для тогдашних суеверов, что его считали волхвом; с наружностию невыгодною, даже вообще нелюбезными, с холодным с качествами чрезмерною скупостию, умел, как вельможа, снискать любовь граждан жизнию, ревностным наблюдением старых честною доступностию, ласковым обхождением. Престол явил ДЛЯ современников слабость в Шуйском: зависимость от внушений, склонность к легковерию, коей желает зломыслие, и в недоверчивости, которая охлаждает усердие. Но престол же явил для потомства и чрезвычайную твердость души Васильевой в борении с неодолимым роком: вкусив всю горесть державства несчастного, уловленного властолюбием, Шуйский пал с величием в развалинах государства! Василий (говорит летописец) нарушил обет свой не мстить никому лично, без вины и суда. Оказалось неудовольствие; слышали ропот. Никто не дерзнул спорить о короне с Шуйским, но многие дерзали ему завидовать и порочить его избрание как незаконное. Самые усердные клевреты Василия изъявляли негодование: ибо он, доказывая свою умеренность, беспристрастие и желание царствовать не для клевретов, а для блага России, не дал им никаких наград блестящих в удовлетворение их суетности и корыстолюбия. Заметим необыкновенное своевольство в народе и шаткость в умах: ибо частые перемены государственной власти рождают недоверие к ее твердости и любовь к переменам: Россия же в течение года имела четвертого самодержца и не видала нужного общего согласия в последнее избрание. Старость Василия, уже почти шестидесятилетнего, его одиночество, неизвестность наследия также производили уныние и беспокойство».

Здесь вместе с влияниями характера Василиева на события показано влияние и некоторых других обстоятельств. У Щербатова на эти обстоятельства обращено более внимания: там он обращает внимание на закон 1592 года, на голод, бывший в царствование Годунова.

Критики, рассматривающие «Историю государства Российского» преимущественно с точки зрения художественной, справедливо предпочитают XII том всем предшествовавшим: события, здесь рассказанные, такого рода, что давали обильную пищу таланту автора. С точки зрения научной XII том теперь нам кажется слабее предшествовавших, потому что у нас много новых материалов, объясняющих удовлетворительнее эпоху; но статья наша не может иметь целию указание отношений «Истории государства Российского» к настоящим средствам нашей науки, ибо мы имеем дело не с современным сочинением. Карамзин остановился на событиях 1611 года; но взгляд свой на последующие события он высказал в особой статье (О древней и новой России); в этой статье для нас важнее всего именно взгляд автора на отношение между древнею и новою Россиею. Вот этот взгляд: «Царствование Романовых, Михаила, Алексия, Феодора, способствовало сближению Россиян с Европою как в гражданских учреждениях, так нравах, государственных сношений с ее дворами, от принятия в нашу службу многих иноземцев и поселения других в Москве. Еще предки наши усердно следовали своим обычаям; но пример начинал действовать, и явная польза, явное превосходство одерживали верх над старым навыком в воинских уставах и в системе дипломатической, в образе воспитания или учения, в самом светском обхождении, ибо нет сомнения, что Европа от XIII до XIV века далеко опередила нас в гражданском просвещении. Это изменение делалось постепенно, тихо, едва заметно, как естественное возрастание, без порывов и насилия. Мы заимствовали, но как бы нехотя, применяя все к нашему и новое соединяя со старым. Явился Петр. В его детские лета самовольства вельмож, наглость стрельцов и властолюбие Софии напоминали России несчастные времена смут боярских; но великий муж созрел уже в юноше и мощною рукою схватил кормило государства, он сквозь бурю и волны устремился к своей цели: достиг — и все переменилось. Этою целию было не только новое величие России, но и совершенное присвоение обычаев европейских. Потомство воздало усердную хвалу сему бессмертному государю и личным его достоинствам и славным подвигам. Он имел великодушие, проницание, волю непоколебимую, деятельность, неутомимость редкую; исправил, умножил войско; одержал блестящую победу над врагом искусным и мужественным; завоевал Ливонию, сотворил флот, основал гавани; издал многие законы мудрые; привел в самое лучшее состояние торговлю, рудокопни; завел мануфактуры, училища, академии; наконец, поставил Россию на знаменитую степень в политической системе Европы. Говоря о превосходных его дарованиях, забудем ли почти важнейшее для Самодержцев дарование: употреблять людей по их способностям? Полководцы, министры, законодатели не родятся в такое или такое царствование, но единственно избираются; чтоб выбрать, надобно угадать; угадывают же людей только великие люди — и слуги Петровы удивительным образом помогали ему на ратном поле, в сенате, в кабинете. Но мы, Россияне, имея пред глазами свою историю, подтвердим ли мнение несведущих иноземцев и скажем ли, что Петр есть творец нашего величия государственного? забудем ли Князей Московских: Иоанна I, Иоанна III, — которые, можно сказать, из ничего воздвигли державу сильную и — что не менее важно учредили твердое в ней правление единовластное? Петр нашел средства делать великое. Князья Московские приготовили оное».

В этих словах всего яснее высказывается отношение Карамзина, как историка, к его предшественникам. В продолжение XVIII века громадный образ Петра долго закрывал собою образы своих предшественников, всю древнюю русскую историю: не по мнению только несведущих иноземцев, Петр был творцом нашего величия государственного; русские и самые сведущие были того же мнения и сочинениями своими утверждали его у современников и у потомства. Стоит вспомнить Ломоносова, его осьмую оду:

Ужасный чудными делами, Зиждитель мира искони Своими положил судьбами Себя прославить в наши дни: Послал в Россию человека, Каков неслыхан был от века. Сквозь все препятства он вознес Главу победами венчанну, Россию, варварством попранну, С собой возвысил до небес.

Или в четвертой оде строфу, начинающуюся словами: «Воззри на труд и громку славу». Это оды; а вот и слова прозаика, собирателя материалов Крёкшина: «Егда же благослови Бог из тьмы возсияти свету и возсияти в сердцах сынов российских, даровал свету Петра Великого... Ты (обращается к Петру) нас от небытия в бытие привел; мы до тебя были в неведении и от всех порицаемы невеждами, ничтоже имущи, ничтоже знающи. Ты нас просвети и прослави славою, сотвори искусными в полезных знаниях, разума, мужества, храбрости, премудрости. До тебя все нарицаху нас последними, а ныне нарицают первыми».

Но во второй половине века уже возникла мысль об отношениях древней и новой России, об отношениях деятельности Петра Великого к деятельности его предшественников; возник вопрос: действительно ли свет воссиял только с царствования Петра? Действительно ли русские до Петра занимали последнее место? Действительно ли были презрения? Болтин поставил себе целию противное, и вследствие этого Карамзин в XIX веке мог сказать: «Мы, Россияне, имея перед глазами свою историю, скажем ли, что Петр есть творец нашего величия государственного? Забудем ли Московских: Иоанна I, Иоанна III?» Легко понять, какое важное значение в нашей исторической литературе имело возбуждение этого вопроса: между древнею и новою Россиею перекинут был мост; Петру Великому нашлись предшественники, узнали, как приготовлялось дело Петра: «Еще предки наши усердно следовали своим обычаям, но пример начинал действовать — и явная польза, явное превосходство

одерживали верх над старым навыком, в воинских уставах, в системе дипломатической, в образе воспитания или учения, в самом светском обхождении». Но здание науки строится долго и с трудом великим; тот же Карамзин, который, вследствие трудов предшественников своих, мог перекинуть мост между древнею и новою Россиею, найти Среднюю Историю — от, Иоанна III до Петра Великого, — тот же самый Карамзин увеличил пропасть, отделявшую древнюю русскую историю от средней, порвал всякую связь между деятельностию Иоаннов московских и предшественников их; «забудем ли Князей Московских: Иоанна I, Иоанна III, «которые, можно сказать, из ничего воздвигли державу сильную?» Не согласившись назвать Петра творцом величия России, Карамзин не усумнился назвать творцом величия России Иоанна III, потому что об отношениях древней и средней истории не поднимался вопрос ни до него, ни в его время; мысль о значении Иоанна III, как творца величия России, была наследована Карамзиным от его предшественников и развита им с особенною любовию именно под влиянием вопроса, поднятого в исторической литературе Болтиным: при стремлении восстановить значение древней русской истории желалось найти в ней лицо, которое бы можно поставить на одинаковой высоте с главным деятелем новой истории и даже еще показать превосходство главного героя древней истории пред главным героем новой.

Таково было отношение «Истории государства Российского» к источникам и к трудам предшествовавших историков. Теперь мы должны обратиться к другому вопросу: каково было отношение «Истории государства Российского» к последующим трудам по русской истории? Только при решении этого вопроса можно будет понять все великое значение разбираемого творения.

1857

## Примечания

Следует иметь в виду, что С. М. Соловьев в разных работах написание фамилии Миллер дает двояко: и как Миллер, и как Мюллер (Примеч. ред.).

Бецкий

Фонвизин в «Недоросле».

«Между явными нам русскими историками есть древнейший Нестор, бывший монах Печерского монастыря» (Татищев); «Die erste und einzige Quelle der altensten russischen Geschichte ist Nestor» (Schlozer) — «Первым и единственным источником древней русской истории является Нестор» (Шлёцер). — Примеч. ред.

«Nach dem Jahre 1748 kam durch Tatisczew, auf die verdachtigste von Tat selbst ehrlich beschriebene Art, ein Stuck von einer Chronik zum Vofschein», II, 13 — «После 1748 года Татищев обнародовал подозрительную саму по себе, однако добросовестно им переданную часть летописи». II, 13 (Примеч. ред.).

Нестор I, 17.

Нестор I, 58.

Или скорее Шлёцера, который в 1769 году в своей Geschichte von Russland напечатал: «Diese Slaven ein ursprunglich europaisches Volk hatten von je herrin Ungarn, an dem nordlichen Ufer der Donau, gewohnt Im funften Jahrhundert nach Christi Geburt zog sich ein Theil desselben, von den Wlachen und Bulgaren verdrungen, gegen den Dnepr hin und baute Kiew». — «Эти славяне, по происхождению европейский народ, с давних пор обитали в Венгрии, на северном берегу Дуная. В пятом столетии от Рождества Христова часть их, теснимая волохами и болгарами, потянулась к Днепру и построила там Киев» (Примеч. ред.).

Wir wollen abhoren, wie unsere Historicker pragmatisch historisieren und politisieren.

Как, напр., восклицание Ломоносова: «О, деревенская простота!»

Напечатанное курсивом напечатано так. у самого Карамзина.

См. подробнее об этом в «Истории России», т. І, прим. 261. (Издание Товар. «Общ. Польза», гл. VII, стр. 173, прим. 2) // Соловьев С. М. Соч. Кн. І. М., 1988. С. 308.

Studien zur grundlichen Kenntniss der Vorzeit Russlands, S. 113 — Архив историко-юридических сведений, изд. Калачовым, кн. I // Архив историко-юридических сведении, относящихся до России, издаваемый Николаем Калачовым. Кн. I. М., 1850.

Прим. 148. (Изд. Тов. «Общ. П.», т. II, гл. III, стр. 346, прим. 3) // Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. II–III. М., 1991. С. 247. Примеч. 148; Соловьев С. М. Соч. Кн. І. М., 1988. С. 680.

«Московит». 1856 г., Љ1.

Теперь эта летопись уже не имеет означенного у Карамзина Љ.

Потому что точно так же определяется у Курбского и монастырь, в который отправился Иоанн па богомолье после болезни: «монастырь, сто миль от Москвы лежащий».

В статье «Писатели русской истории XVIII века». Оставить комментарий